

Яков Шехтер

**Любовь и СМЕРШ**  
**(сборник)**



Яков Шехтер

**Любовь и СМЕРШ (сборник)**

«Автор»

2014

## **Шехтер Я.**

Любовь и СМЕРШ (сборник) / Я. Шехтер — «Автор», 2014

«Яков Шехтер как художник настолько наблюдателен, что умеет находить шекспировскую коллизию в обыденном соре и дрязге жизни. Разночинная, просторечная стихия его прозы оказывается пронизанной нервной сетью такой чувствительности и густоты, что, кажется, тронь эту оболочку, и на ней выступит капелька крови. На дне многих его сюжетов дремлют раскольниковские страсти». Валерий Сердюченко, профессор литературы Львовского университета

© Шехтер Я., 2014

© Автор, 2014

## Содержание

Попка-дурак	5
Мэтр и Большая Берга	25
Конец ознакомительного фрагмента.	42

# Яков Шехтер

## Любовь и СМЕРШ (сборник)

*Посвящается Асе*

### Попка-дурак

*– Вы шутите, – сказал он, отступая на шаг.*

*– Однако где же амонтильядо? Идемте дальше.*

*Эдгар По*

Чтобы стать идиотом, вовсе не обязательно родиться в Калараше. Где суждено, там и прихватит, невзирая на место жительства, образование и национальную принадлежность.

На девятом месяце Сёминой маме захотелось говорящего попугая.

Без почему, захотелось, и все тут. Беременность проходила тяжело, Сёма крутился, словно патефонная пластинка, и бил ногами не хуже жеребца.

«Веселый будет, – думала мама, придерживая руками вздрагивающий живот. – Ишь, какой энтузиаст».

Сумочка с зубной щеткой, полотенцем и паспортом уже висела на вешалке, а Сёмин папа принес и запрятал в бельевом шкафу три коробки шоколадных конфет «Метеорит» – для нянечек в роддоме.

Счастье подступало как горячая вода в ванне. Оставалась только зажмуриться, вдохнуть поглубже и погрузиться в него с головой.

– Хочу попугая, – потребовала мама. – Большого, зеленого и чтоб кричал: «Попка-дурак».

Попугай оказался желто-блакитным, стоил половину папиной итээровской зарплаты, а его словарный запас исчерпывался лозунгом: «Да здравствует Первое мая!» Но мама была счастлива. Ведь счастье – это когда муж без лишнего слова покупает ненужную в хозяйстве вещь и, заглядывая в глаза, шепчет:

– Ну как, солнышко, тебе нравится?

Возможно, именно переизбыток положительных эмоций оказался роковым. Слишком хорошо – это уже не хорошо. Пусть лучше окажется хуже, чем такое безбрежное счастье с трагедией на конце.

Негодились ни сумочка, ни шоколадные конфеты. Роды оказались стремительными. Есть такой медицинский термин. Сёма выскочил из мамы в самое неподходящее время и, стукнувшись головой о край унитаза, заработал на всю жизнь кефалогематому – опухоль головного мозга.

– Не переживайте, – утешал маму главврач роддома, самолично прибывший подивиться на необычный случай. – Опухоль доброкачественная, зато от армии освобождает.

Он сладко улыбался и делал пальцами козу. Поскольку Сёма еще ничего не понимал, получалось, что главврач делал козу его маме.

Доброкачественная опухоль – все равно опухоль. Тем более на таком чувствительном месте. Пытаясь обмануть судьбу, родители назвали малыша Соломоном.

– Имя, данное при обрезании – как пожизненный приговор, – сказал реб Гершом, единственный уцелевший на всю Молдавию мозель. – Ни отменить, ни изменить уже невозможно.

Одного пальца на его правой руке не хватало, но остальными он крепко держал нож за самый конец черенка. Сёма даже не успел заплакать...

В комнате было жарко от дыхания разгоряченных угощением родственников. Столбик ритуальной крови в стеклянной трубке напоминал зашкаливший термометр.

– Значит, мы приговорили его к мудрости, – пошутил папа.

– Лехаим, лехаим, – вдруг прокричал попугай.

Гости засмеялись.

– Мудрый или не очень, – вслух пожелала мама, – лишь бы был счастлив.

– Счастье – это не знать своего будущего, – заметил реб Гершом, но его никто не услышал...

В Калараше, городе садов, уродливых новостроек и дешевого молодого вина, к евреям относились достаточно терпимо. Тем не менее сочетание Соломон Меерович резало слух даже неприхотливому молдавскому уху. Для простоты обращения и, чего таить, в целях мимикрии ребенка стали называть Сёмой.

Это был застенчивый мальчик, с большими ушами и родинкой на самом конце носа. До трех лет он не разговаривал.

– Доброкачественная, – плакала мама. – Сказали бы сразу правду, легче было б жить.

Наутро после третьего дня рождения Сёма подошел к папе и решительным тоном произнес несколько фраз. Папа остолбенел.

Сёма повторил и тут же заплакал – тонким злым голосом.

Остолбенение у папы прошло не сразу. Дело в том, что Сёма заговорил по-молдавски.

– Я же просил вас, – выговаривал папа родителям жены, – не оставляйте радио включенным на весь день!

Сёму переучивали всей семьей, и к пяти годам он бойко стрекотал на чудовищной смеси из русского, идиш и молдавского.

Читать он выучился легко и все свободное время проводил за книжками. Речь у него наладилась, хотя излюбленным собеседником стал попугай. По его выкрикам можно было догадаться, какую книгу читает Сёма.

– Бедный Соломон, – причитал попугай, – бедный Соломон! Куда ты попал, Соломон? Где ты был?

Сёму попугай называл исключительно полным именем, а все услышанное безобразно перевирал.

– Пиастры, – кричал он по утрам, – пиастры и бутылка брому!

– Если этот кошмар не прекратится, – вздыхал папа, – нам таки придется тратить на бром последние пиастры.

Но выжить попугая из дому не было никакой возможности.

Едва папа предлагал обменять его на велосипед или поездку к морю, Сёма падал на пол и заходил в рыданиях.

– Ты что, – зловеще шипела мама, обматывая Сёмину голову мокрым полотенцем, – забыл про опухоль?

Сёма рос нормальным, здоровым ребенком, и о трагическом начале его жизни все, кроме мамы, потихоньку стали забывать. Ей же казалось, будто болезнь ушла вглубь и точит мальчика изнутри. Мама регулярно таскала Сёму на проверки, накачивала витаминами и свежей куриной печенкой. Анализы оказывались достаточно благополучными, но мамино сердце не успокаивалось. Можно только представить, что бы она устроила, узнай правду о Сёминых играх с дворовыми котятками.

Сёма приманивал их на кусочки мяса, обрезки колбасы, сахар, смоченный валерьянкой. То ли кошачья память коротка и глупые животные не помнили предыдущих Сёминых выкрутасов, то ли приманка выглядела в их перламутровых глазах достойной риска.

Прыжком преодолев последние полметра, они хватили добычу всей пастью и стремительно пускались наутек. Но реакция у Сёмы была не хуже кошачьей. Одной рукой он цеплял

незадачливого охотника за шерсть вдоль хребта, а второй, тоже со спины, обхватывал горло и сжимал пальцы. Котенок начинал хрипеть и отчаянно молотить воздух лапками с растопыренными когтями. Силы быстро кончались, через полминуты он затихал. Веки накатывались на глаза, из распахнутой пасти свисали липкие слюни. Доводить до конца Сёма не решался, что-то останавливало его в самый последний момент. Он отбрасывал в сторону полузадохшегося котенка и уходил домой.

Пережитого хватало на несколько дней, а потом он снова начинал собирать лакомые кусочки. Никто не догадывался о настоящей причине, о тайном, дурманящем, сводящем с ума сладострастии.

Сёма таился от посторонних глаз, раскидывая приманку в дальнем конце двора, между шершавой стеной дровяного сарая и кирпичным забором. Иногда котенку удавалось до крови оцарапать его руку, Сёма бледнел и бежал к маме за зеленкой.

– Неблагодарные, – сердилась мама на котят, – как можно царапать того, кто вас кормит. Сёмушка, прекрати носить им еду, пусть поголодают!

Сёма не соглашался, и мама с затаенной гордостью рассказывала знакомым о большой любви ее сына к животным.

После восьмого класса Сёма поступил в строительный техникум.

Его будущая специальность называлась «Технолог по производству бетонных конструкций». Вы спросите, как пятнадцатилетний мальчик выбирает такую профессию? Неужели он мечтает о ней с детства, в четыре года просит отца принести немного бетона и арматуры для игр, а в девять убегает из дома на ближайшую стройку?

На самом деле Сёма поступал на «гражданское строительство», но не прошел по баллам. Неудавшихся строителей автоматически записали в бетонщики. Сёма не расстроился – ему было абсолютно все равно куда поступать. Если бы в том году евреев принимали на дрессировщиков обезьян, он стал бы дрессировщиком, в кулинарный техникум – поваром, в музыкальное училище – дирижером. Но там, наверху, его жизнь спланировали определенным образом; и хоть вейся ужом, стелись периной или бейся об лед, тщетны усилия и напрасен труд. Какие испытания записали на твоей странице – те и получишь.

Главное испытание училось вместе с Сёмой в одной группе, но до последнего курса не давало о себе знать. Звалось оно Лукрецией и носило облик простенькой девчухи из молдавской глубинки. Примечательного в ней ничего не было: прямые серые волосы, плоское личико с россыпью красных прыщиков на лбу и подбородке, мелкие неровные зубы. Сидела она все годы где-то посередине аудитории, старательно записывала лекции в общую тетрадь, а в перерывах там же, за столом, тихонько, словно мышка, съедала принесенные из общежития бутерброды. На одной из вечеринок Сёма напился как последняя грязь и, плохо соображая, что делает, потащил Лукрецию подышать свежим воздухом. Объект был выбран случайно, насколько можно допустить, что случайность не есть высшая мера хитроумно замаскированной предопределенности. Воздух действительно оказался очень свежим, они гуляли до утра, и перед самым рассветом Лукреция перестала сопротивляться Сёминым притязаниям.

Перспектива чувственности, распростертая перед ним в виде покорного тела, ошеломила Сёму. Это оказалось куда оглушительней, чем забавы с котами. Он стал приходить к ней в общежитие раз в три дня, потом через день, потом каждый вечер.

– Женюсь, – объявил Сёма родителям перед защитой диплома, – и никаких гвоздей.

– Дурак, – констатировал попугай, нервно бегая по жердочке, – Соломон – дурак.

Реакция родителей оказалась более сдержанной. Мама, узнав национальность будущей невестки, упала в обморок, а папа молча стал выдергивать ремень из широких штанин.

– Любовь, говоришь, – мрачно повторял он, выплевывая каждую букву изо рта, словно отвратительное насекомое, – сейчас ты узнаешь, что такое родительская любовь...

Когда он, наконец, вытащил ремень, мама очнулась. Будь Сёмин папа чуть порасторопнее или кушай поменьше мамалыги и не раздобрей так основательно и беспощадно, вся Сёмина жизнь могла сложиться по-иному. «Опять случайность!» – скажете вы. Вовсе нет. Г-сподь Все-держитель послал ангела и специально перекрутил лямки отцовских брюк...

И все-таки, где же свобода выбора, где «все пути у нас открыты», где «каждый сам творец своей судьбы»? Если человек хочет, чтоб ему стало плохо, почему нужно вмешиваться и обязательно переделывать на «хорошо»? Примерно так причитала мама, обвиняясь вокруг папы, словно змея вокруг Лаокоона.

Много слез пролилось в тот вечер, много проклятий и угроз всколыхнули синий воздух каларашских сумерек и, невидимые глазу, унеслись в сторону общежития и молдавской глубинки. Под конец мама выложила на стол последний козырь:

– Кто ж его возьмет, идиота, – отчаянно сказала она, выжимая носовой платок. – Где ты найдешь для него нормальную еврейскую девочку? Или тебе хочется внуков, чокнутых с обеих сторон?

Таких внуков папа не хотел. Он вообще уже ничего не хотел; призрак Тараса Бульбы, грозно потряхивая оселедцем, стоял за его спиной. Ледяное дыхание такого соседства быстро успокоило папу, а несокрушимая логика маминых доводов сломила и без того ослабевавшее сопротивление.

– Делайте, что хотите, – махнул он рукой. – Только свадьбу устраивать я не буду и помогать с распределением в Кишинев тоже. Если он хочет свою «хазарину», пусть уезжает в деревню и наслаждается пасторальными ароматами с ближайшей свинофермы.

Так и поступили. Сразу после защиты дипломов Лукреция и Сёма уехали в ее родное село и через неделю расписались в сельсовете. Колхоз выделил им дом и принял на работу. Потекли дни, наполненные покоем, нехитрым ритмом деревенской жизни и обещанными ароматами.

Через год Сёмины родители подали документы на выезд.

Поскольку в ОБИРе работали те же молдаване, Сёмин папа смог достаточно быстро организовать положительное решение вопроса.

Собрались быстро, тем более что собирать после бесед с ответственными работниками отдела виз и регистраций было почти нечего. Перед отъездом устроили отвальную. Отец сам позвонил Сёме и пригласил приехать. Имя Лукреции в разговоре не упоминалось.

На проводы собралась вся многочисленная родня. Надышали, накурили и наговорили столько, что холодец в синих тарелках из толстого китайского фаянса не выдержал и растаял. Сёма остался ночевать и утром поехал с родителями на вокзал. Мама плакала, отец молчал и покусывал губы. Сёма сжимал в руке ручку клетки с попугаем и тоже молчал. Только глупая птица, не понимая важности момента, скакала по жердочке и, ошалев от света и воздуха, орала дурным голосом:

– На Белград, на Белград!

Проводница попросила отъезжающих войти в вагон. Мать неуклюже вскарабкалась по ступенькам; отец помогал ей, деликатно поддерживая поясницу. Сёмино сердце сжалось – он вдруг увидел, что они совсем уже не молоды.

– Куда же вы? – спросил он, безрассудно надеясь, все изменить в последнюю минуту. – Может, останетесь?

– От позора, – сказал отец. Мать промолчала. Сёма подал ей клетку и заплакал.

Поезд дернулся и со скрипом двинулся с места.

– Оставь себе, – закричала мама, отталкивая клетку. – Оставь его себе!

Несколько дней Сёма ходил сам не свой. Лукреция пыталась его растормошить, пускаясь на всякие женские хитрости и уловки. За два года супружества она раздобрела, округлилась, кожа выздоровела, и от красноватых бугорков осталась лишь россыпь темных точек, словно кто-то тыкал ей в лицо плохо смоченным химическим карандашом. То ли арсенал ласк ока-

зался недостаточно разнообразным, то ли средства были по-деревенски безыскусны и прямолинейны, но Сёма продолжал грустить. Клетку с попугаем он повесил в темном чулане, и дважды в день, когда Лукреция наливала ему воду и подсыпала корм, дом пронизывал призывный клич:

– На Белград, на Белград!

Жизнь представилась Сёме расписанной до самого конца. Уют и спокойствие определенности пугали и притягивали одновременно.

Несбывшиеся обещания, намеки, так и оставшиеся туманными, непонятые шутки из прошлой, городской жизни приобрели в его глазах неожиданную глубину. От вида случайно обнаруженной старой школьной тетрадки начинало щипать в носу и перехватывать горло. Он подолгу стоял у окна, разглядывая бурые полосы штaketника. Любовь ко всему возможному, так и не ставшему реальным, мешала говорить и пробивалась через глаза солеными непрошеными каплями. Густая, глубокая тень от забора была однозначной и недвусмысленной, как и свет фонаря, скрипевшего по ночам на столбе перед калиткой. Вещи и понятия, не определяемые одним словом, стали раздражать и бесить Сёму.

Через два месяца пришло письмо из Реховота. В конверт была вложена фотография: отец с матерью снялись на фоне деревьев, усыпанных крупными, ярко-оранжевыми апельсинами.

– Есть их мы уже не можем, – приписала мама на обороте фотографии, – перед сном ходим в соседний сад и нюхаем до головокружения.

На следующий день Сёма начал перестраивать подвал. Собственно, он давно все обсудил с женой и даже приготовил необходимые материалы.

– В деревне надо жить по-деревенски, – сетовала Лукреция, пытаясь запихнуть очередную партию яиц в холодильник. Благодаря ее стараниям, кусочек земли вокруг дома постепенно приобретал вид приусадебного участка нормальной молдавской семьи. Увы, хранить излишки вырабатываемой продукции было совершенно негде. Погреб в доме оказался миниатюрным, места хватило только для кадушки с квашеной капустой и бочки соленых огурцов. Банки с «закруткой» стояли вдоль стен спальни, связки чеснока и лука свешивались с потолка кухни.

– Кто это будет есть? – удивлялся Сёма, разглядывая разрастающееся добро. – Куда нам бочка огурцов?

– Не волнуйся, Соломон, – деловито отвечала Лукреция, лишнее продадим.

Мужа она любила называть полным именем; сочетание Соломон и Лукреция казалось ей возвышенным и необычным.

Сёма представлял ее в черном плюшевом жакете, торгующей на базаре живыми курами, и ему становилось лихо.

Отъезд родителей отодвинул в сторону житейские заботы и благоустройство. Но время шло, добра прибавлялось, деваться было некуда. Несколько недель Сёма проводил в подвале все свободное время. Он углубил и расширил яму, пристроил скользящую опалубку и потихоньку вывел стены. Погреб получился на загляденье; десять сантиметров бетона со всех сторон, пол, посыпанный речным песком, электрическая лампочка. Не погреб, а бункер, бомбоубежище.

Лукреция пригласила родителей на торжественный обед по случаю окончания строительства. Два дня она готовила, поражая Сёмино обоняние диковинными запахами. Обед назначили на воскресенье, а в пятницу вечером Лукреция исчезла. Вернувшись с работы, Сёма застал двери дома распахнутыми настежь. Борщ кипел на плите, голодный попугай неистовствовал в чулане.

«Наверное, побежала в магазин, – решил Сёма, – вечно ей чего-то не хватает в последнюю минуту».

В магазине Лукреции не оказалось, к родителям она тоже не приходила. Сёма подождал до утра и пошел в милицию.

Искали Лукрецию всем селом. Обшарили сараи, проверили старые, заброшенные колодцы. Водолазная команда из Рыбницы обследовала дно небольшого озера, лежащего по соседству. В понедельник из Кишинева приехала поисковая группа со специально обученной овчаркой. Ищейка покрутилась по двору, поскулила, помахала хвостом, но след не взяла. Возможно, ей помешали связки чеснока, разложенные по всему дому, или дождь, прокатившийся над селом в ночь на воскресенье.

Сёма поехал в Кишинев в управление МВД. По его просьбе дело передали следователю по особо важным преступлениям.

Расследование продолжалось несколько месяцев; показания сняли даже с подготовительной группы детского сада, расположенного через два дома.

Сёма писал в Москву, просил чтобы помогли найти хотя бы тело. Москва не ответила. То ли забот в Кремле хватало и без его заявлений, а может, письмо переслали в Кишинев, к тем же молдаванам. Когда через полтора года дело официально закрыли, Сёма подал документы на выезд.

Отпустили его сразу, связываться с жалобщиком никто не захотел. Все хозяйство и запасы, оставшиеся после Лукреции, Сёма оставил ее родителям. Последнюю ночь он провел у них и, крепко выпив, впервые назвал мамой и папой, приглашал в гости.

– Если Лукреция найдется, – шептал Сёма, размазывая слезы, – я сразу возвращаюсь. Полтора года без сна, стоит лишь опустить голову на подушку, как мне чудится: шаги, она вплывает в раскрытую дверь, протягивает руки, зовет. Я подскакиваю и жду, жду до рассвета...

При виде такой любви тесть украдкой отирал кулаком слезы, а теща, не стесняясь, плакала навзрыд. Лукреция в подвенечном наряде лукаво улыбалась со стены.

\* \* \*

Израиль встретил Сёму холодным дождем. Через приспущенное стекло в такси врвался пряный, густой аромат.

– Это апельсины, – пояснила мама. – Вокруг Реховота много старых садов.

Ночью Сёма просыпался от порывов ветра. Пальма за окном шуршала, словно триста голодных мышей, попугай беспокойно ворочался в клетке. Кошмар с Лукрецией казался чужеродным, необязательным отростком его жизни, отсеченным лезвием границы.

«Бедный Соломон, – думал Сёма, – куда ты попал, Соломон, где ты был?!»

Язык у Сёмы не пошел. Болтать на бытовые темы он научился довольно быстро, но чтение и письмо так и не сумел преодолеть. Трезубцы и клыки букв вызывали у него тревогу. Через несколько минут страница расплывалась, черные прямоугольники слов и белые промежутки между ними складывались в причудливые фигуры.

Он пытался уловить знакомые очертания, но ничего, кроме неровных полос, напоминающих рельеф бетонной стены, не приходило в голову. Через час занятий в комнате появлялся человек-невидимка. Он доставал из кармана невидимый молоток и начинал заколачивать невидимые гвозди в переносицу непонятливого ученика. Сёма закрывал учебник и уходил на улицу.

Мама была права – с апельсинами в Реховоте все обстояло благополучно. Приземистые деревья росли вдоль тротуаров, словно шелковица в Кишиневе. Темно-зеленые, чуть тронутые оранжевым цветом плоды напоминали неспелые помидоры. Время от времени один из них срывался с ветки и, подпрыгивая, катился под ноги прохожих. Никто их не поднимал: овощные лавки были завалены спелыми, свежего золота апельсинами по символической цене.

В отличие от цитрусовых, работа в Реховоте под ногами не валялась. Услышав название Сёминой специальности, маклеры морщили нос и, тяжело вздыхая, устремляли глаза к небу.

Спасение могло прийти только оттуда – технологи по производству бетонных конструкций в Израиле не требовались. Дома строили по старинке, из кирпичей или блоков, чернорабочие-арабы затаскивали их на этажи вручную, по три штуки за раз. Сёма объездил с десяток строительных фирм, разослал письма еще в два десятка и в конце концов устроился туда, куда ему предлагали с самого начала, – рабочим на стройку.

Первые две недели он ложился спать в восемь часов вечера; руки и ноги ныли, словно пикирующий бомбардировщик. Через месяц привык, успокоился, а через три стал искать халтуру в вечерние часы. Платили на стройке сносно, а хотелось большего, гораздо большего. Самой лучшей подработкой считался ремонт вилл, однако места в халтурных бригадах были забиты навечно и передавались, как секреты Торы, – от отца к сыну. Но Сёме очень хотелось, так хотелось, что перед сном, спрятав голову под одеяло, он судорожно и нервно излагал свою просьбу.

– О дайте, дайте мне халтуру, – шептал Сёма, толком не понимая, к кому обращается, – дайте, маленькую, одну, ну дайте, дайте же.

Бормотал он беззвучно, опасаясь родителей, для верности прижавшись губами к подушке, но в том, что Там его слышат, был абсолютно уверен.

То ли Высшее Начало пожалело Сёму, а может, он просто надоел Ему своим ежевечерним камланием, но чудо произошло, его взяли в бригаду. Правда, подсобником, принести-унести, но в бригаду. Заправлял всеми делами Овадия, смуглый, почти черный еврей из Йемена. В Реховот он приехал сорок лет назад, еще ребенком, и всех нынешних толстосумов знал по совместным играм на школьном дворе.

После завершения первой халтуры он пригласил Сёму домой, поужинать. Ели невыразимо острое мясо, огненную похлебку и толстые, ноздреватые на изломе питы. В завершение ужина Сагит, дочка хозяина, принесла чай с мятой. Сёма отхлебнул глоток и поперхнулся. Ему показалось, будто в чай вместо сахара по ошибке насыпали перец. Сагит улыбнулась:

– Приходи почаще, привыкнешь к нашей еде, тогда и чай сладким окажется.

Она тоже была смуглой, вся какая-то верткая, смешливая, ухватистая. Гладкие черные волосы блестели, будто напомаженные, голова чуть клонилась к плечу. На узких пальцах с миндалевидными ногтями, чуть тронутыми фиолетовым лаком, удобно располагались кольца из перевитых серебряных проволочек. Передвигалась Сагит с грацией нежной козочки, стремительно и осторожно. Сам того не ожидая, Сёма вдруг произнес:

– Я уже два года живу в Реховоте, а город толком не успел рассмотреть. Можешь мне его показать?

Кровь стремительно покинула голову, скрываясь от стыда в глубине организма, щеки побледнели, воздух с трудом протискивался через пересохшую гортань. Тейманское семейство, еще больше почернев от возмущения, смотрело на него гневно и осуждающе; отец величественным жестом требовал принести из подвала ручной пулемет. Кровь упала до нижней отметки и, осознав, что терять больше нечего, устремилась обратно. Сёма покраснел и опустил глаза.

На самом деле никто, кроме Сагит, его не расслышал. Овадия громко просил добавить чаю, его жена так же громко обещала немедленно принести. Шумел телевизор, спорили на кухне братья Сагит, плакал в коляске третий сын ее старшей сестры.

– Хорошо, – молвили ангелы с неба, – давай завтра, в пять вечера.

Сёма поднял глаза. Сагит, улыбаясь, смотрела на него.

– В пять, – повторила она, – на Герцль, возле банка «Мизрахи». Это самый центр, с него и начнем...

Счастливые браки заключаются на небесах, впрочем, так же, как и несчастные. Немало времени посвятили Сёмину выбору речистые матроны бессарабских семей, много водки утекло и провалилось в бездонной утробе всепонимающих и многоопытных каларашских муд-

рецов. Долго судили они планиду незадачливого родственника, грозные предупреждения слетали с трепещущих от возмущения языков. А когда день свадьбы был назначен и приглашения разосланы, многие уста во многих домах одновременно изрекли диагноз:

– И-ди-ёт!

Местное произношение придавало знакомому слову неповторимый аромат халуцианства и оставляло на лбу подобие позорного клейма – дырочки от двух точек.

– Плохо он знает этих копченых тварей, – говорили одни, вздымая руки к небу. Высшая справедливость представлялась им закутанной в белый балахон с прорезями для глаз. Главной ее заботой было поддержание общинной чистоты.

– Он еще наплачется от щедрот черных друзей, – пророчествовали другие.

– И где он их только находит, – сетовали третьи. – Там подцепил «хазарину», тут тейманку.

Короче говоря, общественность была против. Тем не менее на свадьбу пришли все, возможно, потому, что Овадия заказал один из самых дорогих залов, знаменитый на всю страну своей изысканной тейманской кухней.

Фужеры на столах дрожали от раскатистых загогулин восточного оркестра. Солист, черный как сапог, но в белой атласной кипе, выводил рулады, напоминающие непривычному кишиневскому уху крики ишаков, на которых разъезжали по Йемену предки певца. В зеркальном потолке отражались могучие плечи бессарабских дам, лысины их мужей и коричневые родственники невесты, осыпанные золотыми украшениями, словно манекены в ювелирном магазине.

Сагит в пенящемся свадебном платье была прелестна. Сёма робел и смотрел букой. Под светом прожекторов капли пота на его лице сверкали, будто крошечные бриллианты.

Гости сидели отдельно – каждый в своей компании. Свадебную церемонию многие не успели заметить – восточная кухня разожгла пожар, пламя которого обильно заливалось холодным пивом. Родственники невесты, взявшись за руки, мерно ходили по кругу, поводя в такт плечами и вздрагивая всем телом через каждые два шага.

– Это у них называется танцевать, – презрительно шипели Сёмины родственники и наливали еще по одной.

К часу ночи все было кончено. Молодых отвезли в дом Овадии, гости расселись по автомобилям и, зычно порывивая, устремились к уюту домашних сортиров. Густой дух хумуса, жаренного в пряностях мяса и алкоголя оседал ядовитым туманом на пропотевшие вечерние туалеты.

– Н-да, – сказал папа, усаживаясь на кровать и с трудом стаскивая ботинки с распухших ступней, – н-да!

– Уймись, – мама, как всегда, когда речь заходила о Сёме, была решительна и неумолима, – в Израиле, на еврейке, чего тебе еще надо?

В бархатно-голубой глубине ночного неба холодно сиял полумесяц, окруженный острыми точками звезд. Жизнь снова казалось бесконечной, наполненной счастливыми случайностями и добрыми предзнаменованиями. Все еще можно было изменить и переделать заново. В прохладном воздухе апельсиновых садов летучие мыши готовились встретить утро.

\* \* \*

Вот дни счастья Соломона Мееровича – пять и шестьдесят и триста. Через шестьдесят он блаженствовал как после пяти, после трехсотого в его душе за клубились ядовитые пары сомнений.

По утрам Сагит поднималась первой, ставила кофе и разогревала хлеб в микроволновой печи. Позавтракав, Сёма целовал жену и шел заводить старенький «Фиат». Теперь он ездил

на стройку в собственной машине, попирая четырьмя колесами прах завоеванной страны. В садике перед домом Сёма останавливался, глубоко вздыхал и замирал от счастья.

– Гицеле-мицеле, – выводила в черно-желтом кустарнике неизвестная птица. Неизвестные цветы поворачивали упругие, осыпанные электрическими каплями росы лепестки навстречу неизвестным бабочкам, неизвестные жуки упорно тащили в свои норки неизвестные былинки и семена. Знакомые выюнки, мальвы и гиацинты отгородились от Сёмы стеной труднопроизносимых и еще хуже запоминаемых названий. Пелена неизвестности окутывала окружающий мир, придавая ему глубину и манящую перспективу.

Стекла машины за ночь покрывались густым слоем росы. Каждое утро кто-то выводил на них закорючки ивритских букв. Сёма злился, доставал из багажника старое платье Сагит и насухо протирал стекла.

– Балагуры, – шептал он, выкручивая мокрое платье. – Кукрыниксы хреновы!

Несколько раз он просил Сагит перевести непонятную надпись, но она только смеялась и стыдила Сёму:

– Опять ангелы оставили тебе весточку, а ты не можешь прочесть...

Почему Кукрыниксы, Сёма тоже не мог объяснить. Да он и не задумывался над этимологией, ему просто нравилось вытирать окна собственной машины, шуриться от утренней свежести в собственном садике и шептать это длинное, курчавое слово. Он даже обучил ему попугая и тот регулярно нарушал покой субботнего ужина раскатистым шелканьем:

– Ку-крррры-ник-сы! Ку-крррры-ник-сы!

– Чего он хочет? – спросила в конце концов Сагит. – Сколько раз можно повторять одно и то же?

Сёма улыбнулся.

– По-русски это означает – я люблю тебя. А повторять такое можно всю жизнь.

Сагит провела пальцем по прутьям решетки, и они зазвенели, словно маленький колокольчик.

– Какая славная, сообразительная птичка. И совсем не похожа на своего хозяина...

Сомнение – вот подлинный враг любви. Горе тому, кто приоткроет для него дверь; бесупреков и подозрений никогда не насыщается до конца.

На триста шестьдесят пятый день у Сёмы прошел насморк. Его вечный, несгибаемый тонзиллит внезапно исчез, иссушенный теплом домашнего очага. Вал запахов, не сдерживаемый фильтром соплей, обрушился на незащищенные ноздри. Мир приобрел еще одну координату, дополнительную степень свободы. Принюхавшись полной грудью, Сёма обнаружил, что окружающая его действительность пахнет хильбе. Горьковато-острую кашу из перетертых зерен этого растения его новые родственники употребляли с необычайным рвением и упорством, словно им платили отдельно за каждый съеденный килограмм.

Сама по себе каша излучала довольно аппетитный и сравнительно безобидный запах. Расплата наступала через несколько часов: внедряясь в организм, хильбе начинало благоухать совершенно специфическим и далеко не аппетитным образом. Одежда, несмотря на многочисленные стирки, продолжала источать тончайшее зловоние, напоминающее запах давно немытого тела. Свежие простыни хрустели хильбе, чехлы в автомобиле, изменив бензину, шибали в нос так, будто под ними запрятали носки целой футбольной команды.

К ужасу и позору, выяснилось, что французские духи и дезодоранты Сагит пасуют перед тейманской заразой. В густой глубине «Черной магии», почти у самой подложки запаха, таилась непрощенная добавка. Последний глоток вдоха начисто вытеснял первоначальный аромат, подобно тому, как крошечный хрусталик йода закрашивает стакан чистой воды.

С хильбе Сёма расправился без всякой жалости; готовую кашу вылил на помойку, а сухие зерна спустил в унитаз. Стойкость характера обошлась ему довольно дорого – зерна

разбухли и накрепко закупорили канализацию. Запах в доме стоял такой, что по сравнению с ним благоухание хильбе казалось изысканным ароматом.

Трубы прочистили, слупив за это ощутимую сумму, и когда фимиам фекалий окончательно выветрился, хильбе вернулось на свое место. Наверное, оно угнездилося в теле Сагит уже на генетическом уровне, осело в порах старых деревьев, пропитало стены.

«Даже если сжечь дом, – думал Сёма, – выкорчевать сад и перепахать землю, то все равно розы, посаженные на этом месте, будут пахнуть плохо выстиранными трусами».

Бесконечное распивание кофе отравляло его существование не меньше, чем хильбе. Кофе варили по любому поводу: обжигающе горячий, крепкий, с кардамоном. Первое время Сёма пил наравне со всеми, но скоро почувствовал, что поры его тела закупорены хрупкими коричневыми крупинками.

В Калараше Сёма употреблял исключительно чай. Горячая душистая влага распаривала кожу, выгоняя вместе с потом раздражение и обиды. Чай успокаивал, очищал, а от кофе Сёма становился нервным и озабоченным. Впрочем, оставаться спокойным в присутствии братьев Сагит можно было лишь после полной резекции нервной системы. Разговаривали братья только криком; любой завалящий вопрос обсуждался на пределе возможностей голосовых связок. Эти смуглые, цвета молочного шоколада ребята обладали завидным душевным здоровьем, энергия клочкотала в них, словно бульон в кастрюле с закрытой крышкой. Выпускной клапан периодически открывался – размахивая руками, братья приносили мыслимые и немыслимые клятвы в доказательство своей правоты и, страшно закатывая глаза, били себя в грудь, как бабуины. Впрочем, спорили они беззлобно, если не сказать добродушно: крик представлял всего только форму, в которую с легкостью укладывалось любое содержание. Наоравшись, братья пили кофе и, маленько передохнув, принимались за новую тему. Сидели они на скамейке под окнами, кружевная тень, опускаясь на лица, создавала подобие боевой раскраски. Стекла окон время от времени нервно вздрагивали, будто при небольшом землетрясении.

Кофе для братьев варила Сагит. Сёма несколько раз запрещал ей обслуживать этих бездельников, но ни грозный тон, ни даже сурово насупленные брови не возымели должного воздействия.

Родственные связи явно перевешивали. Не раз и не два Сёма поворачивался к стене и засыпал в одиночестве, крепко подоткнув одеяло в знак отчуждения и обиды.

– Ах, – шептал он, прижав губы к подушке, – если б она только присела на край кровати, если б прижалась щекой к спине или просто просунула руку под одеяло, без слов, молча, тихонько посапывая носиком, – он простил бы ей все: и непокорность, и дурацкие правила семейной чистоты.

Но такого за всю их недолгую супружескую жизнь ни разу не произошло.

Сагит была переполнена суевериями. Обычаи и привычки, привезенные родителями Овадии из средневекового Йемена, составляли основу ее мировоззрения. Она свято верила в существование туалетного беса и не позволяла Сёме прикасаться к еде, пока он тщательно не ополаскивал руки из большой медной кружки с двумя позеленевшими ручками. Добавить молока в кофе после мясного обеда казалось ей страшным преступлением, а по мало-мальски серьезным вопросам она бегала советоваться к «хахаму» – старому тейманцу с седыми пейсами. При этом Сагит не считала себя религиозной; по субботам курила и до глубокой ночи смотрела телевизор.

«Деревня, – свысока улыбался Сёма, – пережитки феодализма».

Но как ни смейся, ему становилось не по себе от мысли, что дедушка его жены разжигал костер в самолете по дороге из Йемена в Израиль.

Возвращаясь с работы вместе с Овадией, Сёма искоса поглядывал на коричневый профиль тестя и с ужасом находил все больше общих черт со смешной коричневой обезьянкой.

Лицо и волосы Овадии покрывал мелкий иней известки.

– Мы с вами сегодня, папа, одинаково небрежны, – говорил Сёма, улыбаясь собственному неоцененному остроумию.

Овадия смотрел на свои руки, обтянутые белой сеткой застывшей в глубоких морщинах известки и согласно кивал головой.

Со всем этим еще как-то можно было мириться. Но самым нестерпимым, обидным и несправедливым оказались принципы семейной жизни. Если б только Сёма узнал, какой умник вбил в голову Сагит такую чушь, он бы, честное слово, не пожалел денег и нанял арабов из Газы отмутузить до полусмерти непрошеного советчика.

В первый же день месячных Сагит перебиралась на отдельную кровать и не подпускала Сёму две долгих недели. Нельзя было не то что поцеловать или пожулькать, а просто прикоснуться пальцем. В конце срока она отправлялась в микву и, возвращаясь, демонстративно перестилала белье на общей кровати.

– Наверное, в Йемене не хватало пресной воды, – злобно шипел Сёма, – вот твои бабушки и привыкли мыться один раз в месяц.

– Гой, – отвечала Сагит. – Дремучий, невежественный молдаванин. Давай, я запишу тебя на полгода в ешиву, может, перестанешь болтать глупости.

Ах, как это было обидно! Ворочаясь на пустой койке, Сёма окончательно уступил демону сомнений и скромный вопрос, висевший где-то у края обозреваемого сознанием пространства, вдруг превратился в главную проблему жизни.

Как порядочный еврейский муж, все заработанные деньги Сёма отдавал жене. Сагит мечтала о собственном домике, пусть небольшом, но отдельном. Собственный домик стоил безумно дорого, и поэтому она ввела режим строжайшей экономии.

Вечерние огни большого Тель-Авива, маняще помигав, вновь отделились и мерцали где-то там, в туманном «после того, как купим дом». В итоге Сёма работал на двух работах, а по ночам высчитывал, сколько осталось до очередной миквы. Перед рассветом, когда тихое дыхание Сагит становилось почти неразличимым, приходила Лукреция. Жалобно сложив руки у ворота, она вновь молила о пощаде. Выдержать такое счастье мог только самый безоглядный оптимист.

Говорят, что человек окружен посланцами нечистой силы, словно дерево корой. Они слетаются на поступки, будто осы на малиновый сироп, трутся об ноги, как голодные коты. Размышляя о вечере, перевернувшем его жизнь, Сёма пришел к выводу, что беседовал и пил водку не со школьным приятелем Лёней, а с носителем злого начала, чертом.

Халтура в тот день закончилась сравнительно рано, и Сёма решил, наконец, помыть машину не тряпкой у забора, а в автосалоне. Пока две девчушки в красных комбинезонах драли и терли старую шкуру «Фиата», Сёма сидел в пластмассовом кресле и, попивая «Колу», лениво оценивал их женские достоинства.

– Сёмулика! – проревел за его спиной убежавший с пастбища осел. – Узнаешь друга Лазаря? Приглядевшись, Сёма с трудом опознал в толстом мужчине с лоснящимися щеками своего одноклассника Лёнчика. Много лет назад они вместе собирали марки, дрались, обменивались магнитофонными записями, курили за школой первые, вытасченные из отцовских карманов папиросы – словом, вели нормальный образ жизни, именуемый в литературе счастливым детством.

– Эк тебя разнесло, – сказал Сёма, осторожно протягивая руку. – Ты не по торговой линии пошел?

Отпихнув руку в сторону, Лёнчик с глухим хрюканьем обнял Сёму и принялся тыкать его носом в перхоть на воротнике своей черной кожаной куртки.

– Друг, – ревел он, – сколько лет... а помнишь... а Светка Плавская умерла от белокровия... а наши почти все здесь... про тебя говорят – зацемился на шиксе... врут, гады, все врут... пойдём, посидим тут рядом, а бочковое, а холодное, сколько лет, друг!

От него пахло потом, крепким одеколоном и табаком. Сёма забился, как куренок под ножом резника, но все попытки освободиться ни к чему не привели – Лёнчик держал его мертвой хваткой.

– Узнаю, – прохрипел наконец Сёма, – узнаю друга Лёню. – Отпусти, кости сломаешь.

Ленчик разомкнул руки и счастливо улыбнулся.

– А ты все такой же, щуплый и с большими ушами. Я тебя по ним сразу узнал. А меня вот, прибавилось.

Он с удовольствием похлопал себя по брюшку и зареготал, как жеребец во время случки. В профиль Лёнчик удивительно походил на букву «я».

– Только знаешь, – он понизил голос до доверительного шепота, – а называй меня теперь Лазарем. С волками жить, сам понимаешь...

«Тут рядом» оказалось восточным рестораном, и к пиву в качестве закуски подали стандартный средиземноморский набор: коричневые, скользкие от масла маслины, маринованные баклажаны и хильбе. При виде любимого блюда Сёма тихонечко взвыл и осушил махом литровую кружку пива.

– Ты чего это? – подозрительно спросил Лазарь, с удовольствием окуная в хильбе солидный кус питы. – Еще не привык к местной кухне?

Сёма раскрыл рот. Слова скорби и печали, горькие признания и ядовитые комментарии, уже готовые сорваться с языка, застряли между зубами вместе с волокнами маслин. Лазарь пошел первым.

Он пил, ел и говорил одновременно. Капли пива, окрашенные в пунцовый цвет баклажанов, стекали с его подбородка, крошки питы, подхваченные фонтаном красноречия, разлетались во все стороны.

– Да, я приехал сюда без профессии, диплом сельскохозяйственного техникума со специализацией по выращиванию свинины просто боялся показывать, теперь понимаю, что зря, а жить надо, пошел на курсы поваров, сколько дерьма съел, пока учился, зато сейчас шеф русского кабака, а деньги, а молодые официантки, м-м-м-м-м, а каждый вечер обед в ресторане, а хильбе здесь, что надо, это я как специалист, ешь, дурачок...

Он разорвал на две части остаток питы и тщательно обтер тарелочку.

– Хильбе твоим я сыт по самые гогошары, – вставил наконец Сёма. – Жена у меня тейманка, так что сам понимаешь...

Лазарь застыл с раскрытым ртом. Но ненадолго.

– Как, – прошипел он сквозь мешанину из плохо пережеванной питы и хильбе, – настоящая, оттуда? Он махнул рукой в неопределенном направлении. Сёма помнил этот жест из детства, так отмахивался его дедушка, когда он донимал его вопросами типа: «Где живет Баба Яга?»

– Да, – сказал он с достоинством тяжелобольного человека, – настоящая, оттуда.

– Измена, – возопил Лазарь, – белые в городе!

Стены ресторанички вздрогнули. Буйный вал марокканской музыки обрушился на головы посетителей. Вокруг размашистого гула барабанов пискляво обвивались дудки, неистово трещали трещотки, а грубые мужские голоса мрачно повторяли одну и ту же фразу на арабском языке. От восточных мотивов перед глазами Сёмы всегда возникала одна и та же картина: привязанный к столбу белый миссионер, треск костра, холодный лунный свет и сверкающие капли слюны на подбородках у полуголых барабанщиков.

«При чем здесь арабы, – каждый раз говорил он себе, – арабы не едят миссионеров».

Но его воображение считало иначе; видение возвращалось с завидным постоянством при первых звуках восточной музыки.

Из кухни высунулась курчавая голова хозяина. Он довольно оглядел зал и подмигнул посетителям – ну как, мол, – нравится?

«Сами виноваты, – подумал Сёма, – нечего ходить по восточным ресторанам. А чего ты ожидал услышать – Моцарта?» Мысль показалась ему настолько абсурдной, что он улыбнулся.

– А он еще смеется, – грустно прокричал Лазарь. – Сколько спиногрызов успел заделать?

– Чего-чего? – прокричал в ответ Сёма.

– Киндеров, – спрашиваю, – сколько?

– Пока нет.

– У-ф-ф, – Лазарь расслабленно улыбнулся. – Значит, можно спасать. Не волнуйся – никаких шикс – я тебе подберу, как субботнюю халу – побелее и послаще.

– Я женат, – прокричал Сёма, – понимаешь, хупа, свидетели, раввинат.

– Какая еще хупа, нет такого понятия – хупа с шиксой.

Теперь пришла Сёмина очередь остолбенеть.

– Ты что, сглузду зыхав, посмотри на фотографию ее дедушки, да у него пейсы до пояса!

– Маскировка! – объявил Лазарь. – Не было этого никогда. Во всем сионисты виноваты. Солдат у них не хватало, вот и завезли сюда арабское племя, наташили арабскую музыку, арабскую еду. Об этом тебе в любой ешиве расскажут.

Он брезгливо ткнул вилкой в блюдечко из-под хильбе. Его пальцы напоминали аккуратных, ухоженных кабанчиков.

– Не строй из себя идиёта – давай свой телефон и начнем лечиться.

Спустя два часа, когда полуоглохший и пьяненький Сёма стучал в свою дверь, предложение Лазаря еще казалось ему чудовищным. Прошло несколько дней. Мысль обтерлась, придулилась с краю и, найдя себе место где-то между «бред собачий» и «все может случиться», уже не казалась такой невозможной.

\* \* \*

Лазарь позвонил через две недели.

– Приветик! – сказала трубка. – А приходи завтра к семи в «Свинтус» – литовский кабак на Герцль. Назови свое имя – столик я заказал. Посидим, потравим.

– Да я, – начал было Сёма, – халтуру до восьми, и вообще...

– Никаких вообще, – отрезал Лазарь. – Вообще передай, что старый друг, светлые года, у джигитов есть свои законы. Понял?

– Понял, – сказал Сёма.

Ему вдруг стало так просто и легко на душе – кто-то точно знал, как надо, кто-то желал ему добра и платил за это, и, в конце концов, о чем шла речь, посидеть два часа в ресторане со школьным другом – а сколько можно ишачить, в конце-то концов и у него есть право на личную жизнь, а хватит!

Ресторан оказался довольно уютным; приглушенный свет торшеров, массивные столы из светлого дерева, негромкий оркестрик.

– Не сыпь мне соль на рану, – полушептал в микрофон солист в расшитом блестками пиджаке, – она еще болит!

Руками он пытался изобразить, как невидимый публике злодей с невероятным упорством посыпает его солью. Ран, судя по жестикации, было много, но и соли хватало; пока солист отряхивал ее с одной половины тела, вражина успевал подобраться к другой.

Сёму усадили в глубине зала. Разбитной светлоголовый парнишка ловко приволок поднос, раскидал по столу два прибора, заиндевелую бутылку водки, тарелки с закусками, раскрыл меню на рубрике «Главные блюда» и удалился.

Оркестрик тянул знакомую мелодию, но Сёма никак не мог припомнить слов. Музыка нежно касалась его натруженных рук, обвивалась вокруг загорелой шеи и ласково заглядывала в усталые глаза под сурово нахмуренными бровями.

– Господи, да ведь это же «Синий троллейбус»! – ахнул Сёма.

Автоматически, словно повинувшись приказу, он сорвал жестяной колпачок, налил полный бокал ледяной водки и залпом выпил.

– Последний, случайный, – сразу всплыли слова.

Сёме стало грустно, потом обидно, потом отчаянно жалко чего-то хорошего и правильного, оставшегося там, за хрустальной линией судьбы. Защекотало в носу, слеза любви и жалости к себе холодной льдинкой скользнула по щеке.

Сёма достал из стаканчика салфетку и основательно высморкался. Прямо посередине второго сморка его окликнули.

– Извините, вы – Сёма?

Сёма поспешно скомкал наполненную соплями салфетку и поднял голову.

Все в ней казалось большим: широко подведенные глаза, ворох черных с проседью волос, небрежно заброшенных за спину, наполненная до треска черная блуза, серебряная пряжка на выпуклом животе и крупные, круглые колени, затянутые в сверкающий капрон.

– Лазарь задерживается, – сказала она, – и попросил вас немного развлечь. Меня зовут Виктория, Вика.

Рука была теплой и сильной, и у Сёмы вдруг зануло, защекотало между лопатками. Ощущение было таким, будто к спине приложили грелку.

Вика приехала из Белгорода-Днестровского, небольшого украинского городка, и работала в русской газете, составляя недельные гороскопы и кроссворды. Откуда она набралась астрологической премудрости, Сёма не стал выяснять, но разговор как-то сразу скатился на даты рождения, знаки Зодиака, предсказание будущего.

– Я и по руке умею, – сказала Вика после первой рюмки. – Хотите, погадаю?

Какой же человек не захочет узнать будущее? Даже самые откровенные скептики, обрушивающие на предсказателей и астрологов ниагары ядовитых замечаний и подколок, наедине с собой тоже заглядывают в недельный гороскоп. Каждому представляется, будто завтрашний день окажется лучше предыдущего. Ужасная, роковая ошибка!

Теперь грелку приложили и спереди. Объясняя смысл каждой линии, Вика осторожно поглаживала Сёмину ладонь мягкими подушечками пальцев, иногда чуть подцарапывая гладкими ноготками.

И хоть говорила она на полупонятном астрологическом жаргоне, составленном из неизвестных Сёме слов и понятий, речь шла о другом, совсем о другом, куда более простом и понятном.

– Потанцуем, – вдруг сменила тему Вика.

Она оказалась выше его, и Сёма в смущении затоптался перед столиком.

– Это туфли, – сказала Вика и нетерпеливым движением сбросила их с ног.

– Ну, как сейчас?

Сейчас тоже было высокогато, но отказаться после такой самоотверженности Сёма не мог.

– Женщина никогда не бывает выше мужчины, – шептала Вика, склонив голову ему на плечо, – только длиннее, только длиннее...

Лазарь так и не появился. На прощание она вытащила из сумочки маленький блокнот и быстро записала адрес и телефон.

Листок источал тяжелый, густой аромат и грел Сёмино бедро даже через карман брюк.

Братья, как обычно, сидели под деревом. Не успел Сёма постучать, как дверь распахнулась. Сагит с почтением провожала старого тейманца с седыми пейсами, «хахама». Он уже несколько раз приходил к ним, но Сёма никогда не интересовался целью его визитов.

«Их, тейманские дела, – думал он. – Зачем я буду вмешиваться? Подвоха от такого старика ожидать не приходится, пусть себе ходит».

Хахам ушел, но Сёмино любопытство, подогретое водкой и грелками, потянуло его за язык.

– Объясни наконец, зачем к нам таскается этот дед? – спросил он, удивляясь легкости, с какой слова слетали с его губ.

– Я отдаю ему нашу цдаку, – неожиданно просто призналась Сагит.

– Какую такую цдаку?

– Десять процентов от зарплаты. Тем, кто так поступает, везет в жизни.

Сёме показалось, что он ослышался.

– Десять процентов! Ты отдаешь этому старому болвану такую кучу денег! А почему мне ничего не известно?

– Вот теперь известно, – улыбнулась Сагит. – Меня этому научила бабушка, в нашей семье все так поступают.

Опять бабушка! Сколько можно строить жизнь по заветам немой тейманки! Тепло переместилось вовнутрь, под ложечку, от обиды и горечи стало трудно дышать.

– Я пашу, как ишак, – заорал Сёма, – работа, халтура, откладываю каждый шекель... Домик, свой домик!.. А ты кидаешь неизвестно кому такие куски! Дрянь, мотовка бесстыжая!

Тепло выкатилось из-под ложечки и бросилось в пальцы правой руки. Сёме показалось, будто сердце непонятным образом сдвинулось с места и затрепетало в его ладони. Он поднял руку, чтобы показать его Сагит, и вдруг, неожиданно для себя самого, отвесил ей оглушительную оплеуху. Сагит отбросило назад, она ударилась головой о стенку шкафа и тоненько завывала. Щека мгновенно стала пунцовой, Сагит спрятала лицо между ладоней и продолжала выть, глядя на Сёму испуганными глазами. Что больше повлияло на него, этот тонкий, противный писк или черные, дрожащие от боли глаза? Сколько раз он пытался восстановить, разобраться, выяснить – откуда поднялась в нем дикая, головокружительная ненависть...

Он бросился к Сагит, разодрал, раскинул в стороны мокрые от слез ладони, и, обхватив обеими руками коричневую шейку, принялся душить. Сначала чуть-чуть, так, чтобы поугагать, а затем все сильнее и сильнее. Сагит била его ногами, стараясь попасть в пах, рвала ногтями лицо, но скоро ее сопротивление ослабло, в уголках перекошенного рта показались пузырьки пены, тело задергалось в конвульсиях. Краем уха Сёма слышал глухие удары, словно кто-то с разбегу ломился в дверь.

Сагит захрипела. Дверь слетела с петель, и братья ворвались в комнату. Оторвать Сёму от сестры оказалось для них секундным делом. Пока один укладывал ее на диван, второй занялся Сёмой. Попытки сопротивляться ни к чему не привели, военную службу братья провели в парашютных войсках. После второго удара Сёма потерял сознание.

Когда он очнулся, в комнате никого не было. Преодолевая боль, он поднялся с пола. Голова гудела, ноги дрожали мелкой противной дрожью. Испуганный попугай метался по клетке.

– Ради всего святого, Соломон! Ради всего святого Соломон! – кричал попугай.

В пустом проеме двери показался один из братьев. Он молча вошел в комнату, сгреб с дивана шерстяной плед и направился к выходу. У порога он обернулся:

– Идиёт, – сказал брат скорее устало, чем злобно. – Иди, проверься как следует. Ты чуть не задушил ее до смерти.

«Вот и хорошо, вот и ладно, – подумал Сёма. – И ладно, и хорошо, и пусть, и замечательно...»

Он схватил клетку с попугаем, сумочку, в которой лежали водительское удостоверение и чековая книжка, и выбежал из комнаты. Из-за сильного волнения он поехал не как обычно, а вывернул сразу на центральную улицу и тут же попал в пробку. Куда ехать, Сёма не знал, но оставаться на месте было невозможно.

Заморосил дождь. Первые тяжелые капли, разбиваясь о пыльное ветровое стекло, оставляли на нем знаки, похожие на отпечатки кошачьих лап. Капля посередине и пять брызг по сторонам, капля посередине и пять брызг...

Дождь усилился, стекло затянуло слоем белой, похожей на саван, воды. Пробка не рассасывалась. Тормозные огни стоящей впереди машины окрашивали Сёмины руки в красный цвет. Он прикоснулся пальцем к лицу; палец тоже был красным, но уже по-другому.

«Кровь, – заплакал Сёма. – Она ведь разодрала мне все лицо».

Он сунул руку в карман за платком. Платка не оказалось, вместо него на ладони лежал листик бумаги, источавший тяжелый, густой аромат.

«Вот и хорошо, вот и ладно», – подумал Сёма.

Теперь он знал, куда ехать.

\* \* \*

Первые полгода Сёма не работал. Вернуться на стройку Вика ему не разрешила.

– Хватит, наломался, теперь у тебя есть право немного отдохнуть.

Пособие по безработице оказалось неожиданно большим, особенно по сравнению с зарплатой, которую платили Вике в газете.

Сёма блаженствовал – вставал поздно, не спеша завтракал, надевал огромное соломенное сомбреро и уходил к морю. Вика снимала квартиру в Яффо, и до скамейки с видом на скалу Андромеды можно было дойти за пятнадцать минут.

К Средиземному морю лучше всего приходит утром. Солнце стоит высоко за спиной, его короткие горячие лучи пронзают зеленую воду до самого дна. Сёма усаживался на скамейку под деревом и несколько часов смотрел вниз: на шумную возню яффского порта, игру света в окнах высотных домов на плавной дуге тель-авивской набережной, неспешные забавы ленивых портовых котов. Во всем этом пестром, нескончаемом движении присутствовал свой неповторимый ритм; Сёма прислушивался, находил нужную точку и уплывал. Точка каждый раз оказывалась в другом месте: иногда в медленном накате прибоя, шипящем на черных камнях волнолома, иногда в тархтении мотора рыбацкой лодки, скользящей по сверкающей глади внутренней гавани. Изломанное, прерывистое дыхание Сёмы сливалось с этим глубоким, спокойным ритмом, принося успокоение и прохладу. Он то ли спал, то ли впадал в транс, мир свободно входил в его душу через широко открытые глаза и так же спокойно возвращался обратно. Когда последние остатки страха и неуверенности вымывались из организма этим веселым, сияющим потоком, Сёма поднимался со скамейки, доставал из кармана составленный Викой список покупок и отправлялся по магазинам.

Гости к Вике приходили каждый вечер. В основном сотрудники разных русских газет, среднего возраста, шумные, хохотливые евреи. Почти все они приехали из маленьких городов южных республик бывшего Союза, где работали в заводских многотиражках или на районном радио. Этим в общем-то симпатичных и остроумных людей объединял общий комплекс неполноценности; они без конца рассказывали невероятные истории про победы на литконкурсах, публикации в центральной прессе, знакомства с известными журналистами и писателями. Рассказчики беззастенчиво ввали – слушатели, прекрасно зная, что девяносто процентов рассказанного враки, тем не менее, искренне удивлялись и сопереживали. Все это походило на некую игру, групповую психотерапию.

Гости приходили со своей водкой, благо стоила она сущие пустяки, а хозяйка выставляла символическую закуску. Пьянели быстро, но не глубоко. Разговор начинался с очередного вранья, обязательного, как прием лекарства, а после рассыпался, раскатывался по всей квартире. Говорили о литературе, в основном о русской, вспоминали стихи, свои и чужие, пели песни, о синем московском снеге, сырой палатке, таежных закатах. Иногда Вика низким грудным голо-

сом декламировала стихотворение, всегда одно и то же. Гости замолкали, напряженно прислушиваясь, то ли к ее голосу, то ли к тому, что происходило внутри у каждого.

– Но мы сохраним тебя, русская речь, – почти выпевала Вика, – великое русское слово!

Судя по частоте употребления, этим великим словом являлось нецензурное обозначение мужского члена. С него начинали и им же заканчивали, оно было запятой, многоточием и восклицательным знаком. Половина всех шуток и каламбуров вертелось вокруг него, коротенького, как выдох астматика.

Расходились поздно, обкурив квартиру до посинения. Попугай дурел от никотина, прятал голову под крыло и сердито кричал:

– Nevermore! Nevermore!

Такая жизнь представлялось Сёме необычной и увлекательной. Услышав по русскому радио знакомый голос, он вспоминал вчерашние проделки его обладателя и улыбался улыбкой понимания и причастности.

Изредка появлялся Лазарь. Он приволакивал с собой огромную сумку ресторанных лакомств, Вика раскладывала деликатесы по пластмассовым одноразовым тарелочкам, и начинался пир. Громовой голос Лазаря с легкостью перекрывал говорок журналистов; он шутил и сам смеялся над своими шутками, предлагал петь и тут же запевал, нимало не смущаясь полным отсутствием слуха.

Сёму он покровительственно хлопал по заднице и беззастенчиво объявлял во всеулышание:

– Ну, не жалеешь? Сравни, что имел раньше и что держишь теперь. Не женщина, а сахар, а вата! а мальвазия! цветок душистый, пряник лакомый!

Про Сагит Сёма почти не вспоминал. Несколько раз звонила мама, пересказывала последние реховотские новости. Овадия приходил к ней, просил подействовать на Сёму.

– Или вернись обратно, – передавала мама, – или дай девочке гет, разводное письмо.

Но о разводе Сёма и слышать не хотел. Шрамы от ногтей Сагит жгли лицо, неистребимое зловоние хильбе мутило голову. Одно только воспоминание о братьях приводило его в бешенство.

Душа жаждала мести, кровавой и беспощадной, как сицилийская вендетта.

– Успокойся, дурачок, – осаживала его Вика. – Возьми лучше деньгами. Ведь эта копченая семейка в твоих руках. Поводи, поводи их за нос, а потом назначь достойную сумму. Пусть знают, как поднимать руку на белого человека!

Всему на свете приходит конец – и хорошему и плохому.

Пособие по безработице кончилось, и, хоть деньги на счету еще оставались, сухое томление овладело Сёминым сердцем. Расслабиться на скамейке больше не удавалось, ритм ускользал от его слуха, а мысли, как заведенные, возвращались к одной и той же мысли: что будет завтра, что будет завтра, что будет завтра...

Однажды Вика вернулась из редакции в приподнятом настроении:

– Ну, котик, пляши, – сказала она, едва переступив порог. – Я нашла для тебя хорошую работу.

Место и вправду оказалось удачным. Сёма устроился ночным сторожем в громадном здании, битком набитом разными конторами и офисами. Среди них была и редакция Викиной газеты. Делать ничего особенного не требовалось: за ночь Сёма обходил три-четыре этажи, проверял, не пахнет ли паленым, не течет ли вода из незакрученных кранов, а все оставшееся время дремал в своей каморке перед телефоном. Несколько раз за ночь звонили из центральной конторы, спрашивали, все ли в порядке. Сёма рапортовал бодрым голосом и дремал дальше. Платили за это немного, но Вика не привередничала:

– Проживем как-нибудь, – говорила она, поглаживая Сёму вдоль позвоночника. – Сколько коту нужно для счастья – миска молочка и чтоб кто-нибудь погладил по шерстке.

Вика мурлыкала, прижималась к Сёме горячим, мягким телом, и все напасти и проблемы начинали казаться мелкими и преходящими.

У новой работы был только один недостаток – ночь Сёма проводил не рядом с Викой, а на деревянном стуле. Поставить раскладушку или хотя бы кресло начальство не позволяло, справедливо полагая, что такое нововведение резко снизит бдительность сторожа. Кроме того, уходить на работу приходилось каждый раз в самый разгар застолья, и контраст между шумным, веселым домом и темными, безмолвными коридорами действовал на Сёму не лучшим образом. Когда гости расходились, Вика звонила. Они мило болтали несколько минут, и Сёма вновь оставался один.

К середине ночи тишина достигала своего пика. Переставали шуметь машины, развозившие зрителей из ночных ресторанов и вечерних спектаклей, и все вокруг погружалось в тяжелое, густое безмолвие. Сёма включал радио, но тонкий писк динамика только подчеркивал громадность и всевластие тишины, ее глухая стена словно отгораживала Сёму от живого, трепещущего мира. В голову лезли дурацкие мысли, ему чудилась Лукреция, ее протяжный, умоляющий голосок. Не хватало воздуха, Сёма выбегал из здания, смотрел на теплый свет уличных фонарей, пытаясь уловить шум далекого моря. Одиночество становилось невыносимым, невозможным; ему казалось, будто он замурован в нем навечно, навсегда, и гибнет, задыхаясь от миазмов собственного дыхания.

В одну из таких ночей Сёма не выдержал. От работы до Вики его отделяли пятнадцать минут езды, а ночью – и того десять.

«Проверяющим скажу, что был на обходе, – решил Сёма, – десять минут туда, десять обратно, полчаса с Викой – никто и не заметит».

Дверь он открывал потихоньку, изо всех сил стараясь не шуметь.

Ему хотелось незаметно проскользнуть к постели и разбудить Вику поцелуем, как принц из старой сказки.

В спальне горел свет.

– Наверное, уснула над книжкой, – с нежностью подумал Сёма и открыл дверь.

Они лежали на постели, мокрые от недавно законченной любовной игры. Покрытое черными, блестящими волосами, тело Лазаря казалось еще чернее по сравнению с белизной Викиней кожи.

Сёма онемел. О таком он читал только в книжках и представить себе не мог, что с ним может случиться нечто подобное.

Кровь гулко заходила, зажужжала в артериях, прилила к лицу, зашумела в ушах.

– Не сопи, словно буйвол, – сказал Лазарь нарочито небрежным голосом, – человеком надо оставаться в любой ситуации.

Сёма сжал зубы и бросился на него. Шансов не было никаких, даже из детских схваток Лазарь всегда выходил победителем. Но подобраться к другу юности Сёма не успел. Вика, изогнувшись, ударила его в грудь своей круглой, похожей на полированное копыто пяткой.

У Сёмы перехватило дыхание. Удар пришелся точно под ложечку – магма всех вулканов мира взорвалась в его груди. Он перегнулся пополам, горячая лава заполнила гортань, не давая вдохнуть. Судорожно, глоток за глотком, он пытался втянуть воздух в онемевшие легкие. Вика нацепила на его склоненную шею сумку с документами, подтащила к входной двери и коротким пинком выставила наружу. Через минуту дверь приоткрылась, и на коврике возле скрюченного Сёмы появилась клетка с попугаем.

– Забирай свое насекомое, – злобно бросила Вика.

Сёма завыл. Говорить он не мог, судороги икоты разрывали гортань. Тяжелые, словно расплавленный свинец, слезы наполнили рот.

– За что, – с трудом выдавил Сёма, – за что?!

Тень жалости промелькнула по лицу Вики.

– Неужели ты еще не понял, дурачок? – почти ласково сказала она. – Жена Лазаря ужасно ревнива, вот я и взяла тебя в дом, чтобы отвести подозрения.

Дверь захлопнулась. Жить дальше было совершенно незачем. Оставалось только решить, каким способом уйти из этого мира.

Долго мучиться Сёма не хотел, мгновенная смерть от яда или пули представлялась ему наиболее желанным исходом. Он сидел на скамейке и, устремив остановившийся взгляд на скалу Андромеды, соображал, где достать оружие. Как назло, голова плохо работала, мысли скакали, словно волны перед волнорезом, – с трудом собранные вместе, они тут же разлетались в стороны, будто морские чайки за кормой корабля. Пахло соленой водой, свежий ветер перебирал листья над головой у Сёмы, промокшая от слез рубашка холодила грудь, а он все сидел и сидел, не в силах сдвинуться с места...

В первой же аптеке Сёма купил снотворного – немного, потому что без рецепта. Поехал во вторую, третью. Через час он проглотил целую горсть выпрошенных у сердобольных аптекарей таблеток, запил водой из фонтанчика и снова уселся на скамейку. Ничто не изменилось: ветки над головой шуршали свою мелодию; тархтя моторами, возвращались рыбацьи лодки с ночного лова. Он подумал: «Что будет с мамой?» Его похоронят скорее всего в Реховоте, где-нибудь у ограды, а может быть и нет, она будет приезжать к нему два раза в день, приносить свежее молоко, булочки, голландский сыр...

«Какое молоко, какие булочки, – оборвал себя Сёма. – Зачем ему голландский сыр, даже такой вкусный, как у Вики, она покупает его в магазине деликатесов, совсем недорого, а за сколько, вот за сколько, он никак не может сообразить, сколько же стоит голландский сыр, в русском магазине, прямо напротив остановки автобуса...»

Он попытался вспомнить вчерашний список покупок и тоже не сумел. Мысль могла охватить лишь близкое, расположенное прямо напротив глаз. Мир сузился до размеров век, с их черной бархатистой основы медленно стаивал серебристый отгиск списка покупок. Если быстро перефокусировать глаза – как бинокль – может, удастся рассмотреть, сколько же стоит голландский сыр, и кто стоит там, в глубине, за сиреневой завесой поперек бегущих облаков.

## Послесловие

Если вы хотите спокойно покончить с собой – никогда не делайте этого в Тель-Авиве. Выберите какой-нибудь другой город, а лучше всего – другую страну. Евреи слишком любопытный народ, чтобы дать кому-нибудь умереть в одиночестве.

Не успела Сёмина голова склониться на грудь, как старичок, выгуливающий спозаранку свою собачку, заподозрил неладное.

Якобы влекомый собакой, он несколько минут описывал вокруг скамейки сужающиеся круги, пока не приблизился вплотную.

– Молодой человек, вам нехорошо? – спросил старичок, слегка встряхивая Сёму.

Сёма не ответил. Старичок повторил вопрос. Вновь не получив ответа, он с ловкостью старого сердечника прощупал пульс и побежал к телефонной будке.

Из больницы Сёма вышел совсем седым. Где витала его душа, к каким тайнам успела прикоснуться, в какие бездны заглянуть – никто не знает. Он развелся с Сагит, порвал старые связи и, неожиданно для всех, переехал жить в ешиву.

– Ход конем, – рассудили многоопытные родственники. – Лучше таскать груз заповедей, чем поддон с кирпичами. Идиёт, идиёт, а свою пользу знает!

– Еще один паразит, – постановил Лазарь. – Впрочем, он всегда норовил на дармовщинку.

– Самые злые критики выходят из неудавшихся писателей, – решила журналистская компания Вики. – Вот выучится Сёма на раввина и будет нас, многогрешных, учить уму-разуму. Со всей беспощадностью неопита.

Мама несколько дней плакала и рылась в семейном альбоме. Отыскав пожелтевшую фотографию сурового старика в высокой черной ермолке, она успокоилась.

– Сёмин прадедушка был старостой синагоги, – сказала она папе. – Может, это у него фамильное...

И лишь Овадия, узнав о безрассудном поступке бывшего зятя, уважительно покачал головой.

Учение у Сёмы не пошло. На уроках он моментально засыпал, а разобрать лист Талмуда было для него непосильной задачей.

Через полгода он сдался и устроился на работу в той же ешиве.

Сёма моет полы, чистит кастрюли, сдает в стирку белье. От брачных предложений он отказывается наотрез; женщины его больше не интересуют. Живет он в маленькой комнатке подвального типа на первом этаже ешивы. Все заработанные деньги Сёма тратит на ешиботников, покупает им лакомства, чтобы лучше учились, новые галстуки, носовые платки. Он по-прежнему посещает уроки и по-прежнему засыпает после второй фразы преподавателя.

На вопросы любопытных Сёма отвечает:

– Душа... душа слышит...

Ешиботники за глаза называют его праведником и перед экзаменами приходят просить благословения.

– Какое еще благословение, – ворчит Сёма, – учиться нужно как следует...

Прошлое словно стерлось из его памяти. Иногда ему кажется, будто он родился и вырос здесь, в цокольном этаже ешивы. Плавное течение дней перемежают спокойные ночи; большой мир, наполненный опасностями и соблазнами, бушует снаружи, не в силах прорвать старые, толстые стены. Во сне Сёму навещают давно умершие раввины в шелковых сюртуках и шапках из лисьего меха. Они присаживаются на краешек кровати и, раскачиваясь, толкуют о заповеди «Не убий».

Перед самым рассветом Сёма просыпается и долго лежит с открытыми глазами, прислушиваясь к стуку собственного сердца.

Страшная гостья больше не приходит, он наконец обрел то, что безуспешно искал под хупой и в объятиях Виктории.

И лишь когда зимние тучи закрывают небо над Бней-Браком, а в его камерке становится темно, как в подвале, Сёма подходит к клетке с попугаем и перебирает прутья холодными пальцами.

Прутья звенят, словно голосок Лукреции. Попугай высовывает голову из-под крыла и кричит, подражая бывшей хозяйке:

– Ради всего святого, Соломон!

– Ради всего святого, – отвечает Сёма и горько, горько плачет.

## Мэтр и Большая Берта *фуга в ми мажоре*

*...и шестикрылый серафим на перепутье мне явился...*

*А. С. Пушкин*

«Религиозная. Совсем девчонка. Длинная синяя юбка из блестящего, льющегося материала, белая блузка с рукавами до запястий. Ворот застегнут по самое горло на ровные, глянцевые пуговички в три ряда.

Глаза – огромные, миндалевидные, брови как мохнатые шнурочки, припухлые губы без тени помады, ей бы еще шоколадки грызть или что они тут грызут, ан нет, уже выгнуты в преддверии поцелуев.

Нос, правда, можно уменьшить. Сейчас недорого берут, раз-два и какой хотите, с горбинкой или прямой аристократический. А вот грудь не мешало бы приободрить...

Восточная, наверное. Кожа хоть и светлая, но с темным налетом. Говорят, они как огонь, если приручишь. Где там, приручишь, ишь, косится, словно испуганная газель. А волосы собрала пучком на затылке, будто чеховская курсистка.

Хороши волосы! Густые, с блеском. На шампуню небось не жалеет. С деньгами проблем нет – такую кожаную сумку не всякий себе позволит. Значит, и на шампуню хватает. Конечно, хватает, вон как блестят, а пахнут, наверное, хвоей, будто нагретый солнцем бор в середине августа».

Все это просмотрел и продумал за несколько секунд журналист крупной тель-авивской газеты Аркадий Межиров, потев в автобусе кооператива «Эгед». Он стоял в конце прохода, устало повиснув на поручне, и от нечего делать разглядывал девушку. Ехали они вместе уже давно, но синее марево компьютерного экрана, перед которым Аркадий просидел десять часов, только сейчас расступилось, нехотя отпустив сначала девушку на переднем плане, а за ней других пассажиров, водителя, огни светофоров и лакированные спины машин. Девушка была симпатичной, нет, красивой, очень красивой, и Аркадий рассматривал ее с явным удовольствием. Удовольствие, впрочем, носило чисто платонический характер – шансов на сближение с красоткой было не больше чем на флирт с Венерой Милосской.

В автобусе работал кондиционер, но рука, сжимавшая поручень, все равно потела, и горячие капли стекали прямо под мышку. Возвращался Аркадий из редакции перечерканный, словно многократно правленный текст. Девушка лишь на минуту привлекла его внимание, он опустил глаза и вернулся к своим мыслям, серым и мятым, как дешевая туалетная бумага.

Работа выжимала из него все соки, заодно с той, не взвешиваемой, но весьма весомой субстанцией, именуемой «душа». Дни до рвоты походили один на другой; девять, десять часов в редакции, расслабуха с приятелями под водку и приевшиеся закуски, выходные, заполненные не приносящим облегчения сном. Хозяин газеты требовал от Аркадия две полосы в день, двенадцать в неделю, сорок восемь в месяц. И он давал, поскольку мыть туалеты на бензоколонках или подтирать сморщенные стариковские задницы было еще противней.

Писал Аркадий спинным мозгом, отключив голову, но получалось неплохо, зло и с оттягом; многим нравилось. Не нравилось только самому Аркадию, да деваться было некуда, и он строчил, дурея от мерцания экрана, а вечером тяжело и мучительно отходил, переживая нечто среднее между похмельем и угрызениями совести.

Он еще раз взглянул на девушку; осталось только рассмотреть пальцы, чтобы понять о ней все. Слово подвигаясь к выходу, Аркадий сделал несколько осторожных шагов, придвинувшись почти вплотную к объекту наблюдения. Объект разжал кулачок и брезгливо отодви-

нул руку. Ладонь раскрылась всего на несколько мгновений, но этого оказалось достаточно – ногти были выгрызены почти до мяса.

«Фикция, все фикция, – сурово отметил Аркадий. – И длинная юбка, и стыдливые пуговички у ворота. Под ними бушуют вполне понятные страсти, и пальчики эти наверняка уже проложили дорогу в другие, более заповедные места».

Он зажмурился, представив прохладные ложбины, тенистые бугорки, плавное течение воды, неспешно и влажно перебирающее водоросли на краю омута, мерное поскрипывание уключин и внезапный, как всегда, обвал комьев, от самой кромки обрыва прямо туда, в воспаленно дрожащее зеркало.

«А ведь тоже, учить начнет. Просвещать, указывать. Возлюби ближнего вместо самого себя! Но как главу государства убивать, так тут как тут, фарисеи недобитые. В Тель-Авив с поселений, небось, прикатила, вон кроссовки грязью перепачканы, а где ее отыщешь летом в Тель-Авиве, грязь-то?»

Он опустил голову и принялся укоризненно разглядывать перепачканные кроссовки.

«Привести себя в порядок некогда. До того ли! Все великие идеи в голове, планы миссионерские, по массовому возврату населения в лоно иудаизма. Обидно только, что такая хорошенькая!»

Девушка заметила наконец косые взгляды Аркадия и смутилась. Лево́й рукой она крепко прижала сумку, а правую, отпустив поручень, испуганно поднесла к груди. Было в ее смущении нечто чрезмерное, избыточное для простой автобусной переглядки.

«Интересно, что она прячет? Не деньги ведь, откуда у такой пигалицы большие деньги. Хотя, может, они большие только в ее представлении.

А может, – фантазия Аркадия, натренированная непрерывным писанием детективно-приключенческой бурды, понеслась вскачь, – может, там револьвер, листовки и план убийства нынешнего премьера».

Честно говоря, против убийства нынешнего премьера Аркадий не возражал, но смущение девушки и вправду перешло границы нормального, а на лице появилась гримаса совсем не нафантазированного страха.

«Ишь ты! – удивился Аркадий, отводя глаза и делая равнодушное лицо, – может, она меня за полицейского агента принимает, за провокатора. Морда моя в самый раз для такого дела; тусклая, без особых примет, если чем и выделяюсь, то трехдневной щетиной. А что бриться человеку больно, что кожа раздражается на жаре – понять не может. Писюшка наивная, но мысли исключительно о великом. Хлебом не корми, дай Отечество поспасать».

Провокатор! Перед глазами поплыли проулки южного Тель-Авива, сумрачные фасады старых домов на Алленби, таинственные лица заговорщиков в больших вязаных кипах, пакеты из плотной коричневой бумаги, «случайно» забытые на скамейке бульвара Ротшильд, и вообще весь сопутствующий сыску видовой ряд.

Мысль, поначалу безумная, стала нравиться ему все больше и больше. Он примерил на себя шпионское платье: надвинул поглубже серую шляпу, чуть приспустил темные очки и небрежно оттопырил руку с зонтиком-тростью, в недрах которого скрывались кинжал, портативный радиопередатчик и складной пулемет. Губы сами собой сложились в презрительную улыбку, а щетина на щеках встала дыбом, словно шерсть на спине у кота. Роль ему нравилась. Было в ней что-то от настоящей жизни, подлинное, как бергамотовый запах лондонского чая «Earl Grey».

Он поднял голову и бросил осторожный взгляд на девушку. Перемена, произошедшая с Аркадием, испугала ее до неприличия. Пухлые губы задрожали. Вцепившись обеими руками в сумку, она бросилась к выходу.

«Нет, точно заговорщица, – подумал Аркадий. – Иначе с чего так мельтешить?»

Он взглянул в окно. Автобус давно проехал нужную остановку, приключение затянулось, пора было возвращаться.

Не обращая внимания на возмущенные взгляды и возгласы, Аркадий протолкался к выходу и выскочил на горячий асфальт тротуара. Девушка успела отбежать довольно далеко. Аркадий улыбнулся и вдруг, вместо того чтобы перейти на другую сторону улицы, к остановке автобуса, идущего в обратном направлении, припустил вслед за ней.

«А что, – подумал он на бегу, – славненько может получиться. Глядишь, и материал подсоберется, не все же лапу сосать».

Лапа, по правде говоря, была обсосана до самой кости. В ход пошли воспоминания детства, студенческие шутки и споры, анекдоты, рассказы родственников, друзей и случайных попутчиков – газета, будто гигантские жернова, перемолола жизнь Аркадия. Впечатления безвозвратно покидали организм, оставляя бледное пятно, словно закрытая для использования функция на экране компьютера. А тут материал сам шел, нет, сам бежал в руки, красивый, изящный, легконогий материал.

Перед столиками кафе, вынесенными прямо на тротуар, преследуемый объект приостановился и, обернувшись, взглянул прямо на Аркадия.

Бедная, наверное, она надеялась, что происходящее – просто игра ее воображения или случайное стечение обстоятельств. Увы, уколовшись о трехдневную щетину преследователя, надежда лопнула, словно воздушный шарик.

«Шалишь», – подумал Аркадий и, чтоб наподдать жару, грозно насупил брови.

Роль преследователя нравилась ему все больше и больше. Он тут же вообразил открытый процесс над выслеженными по его наводке членами еврейского подполья: «встать, суд идет», «последнее слово» и прочие атрибуты юридического протокола поползли муравьями вдоль позвоночника. Не славы, не славы искал Аркадий, а хлеба, скромного хлеба насущного, смоченного слезами и спинномозговой жидкостью.

«Б-р-р-р», – он представил себе такой кусочек и скривился, словно уже откусил и должен проглотить.

Девушку этот жест привел в настоящее отчаяние. Мотнув головой, она побежала напрямик сквозь кафе, грациозно лавируя между ногами посетителей и спинками стульев. Аркадий ломанулся было за ней, но его остановил официант, чернявый парнишка в белой форменной куртке. Куртка была плохо застегнута, и обильная для такого возраста растительность торчала из прорех на груди.

– Тут нет прохода, – вежливо, но твердо сказал официант, – обойди сбоку.

«Обойди, обойди, вот последить за тобой хорошенько, тоже найдется что сообщить. И счета небось завышаешь, и сдачу недодаешь, и порции заодно с поваром уменьшаешь. Воришка, жулье ресторанное!»

Обойти, конечно, пришлось – не драться же, в самом деле, с официантом, но девушка успела скрыться за углом дома. Пройдя на рысях последние двести метров и подняв с карниза, судя по шуму крыльев, целую стаю голубей, Аркадий настиг беглянку у двери парадного. Он подбежал почти вплотную, когда девушка юркнула внутрь и, бросив «негодяй!» прямо в лицо преследователю, захлопнула дверь.

«Негодяй» – наивное слово, из лексикона гимназисток и курсисточек. Детским садом пахнет, институтом благородных девиц. В Израиле он по-другому называется, Бейт-Яков, дом Якова. Кстати, какой тут номер дома, надо бы записать...

Он огляделся: скудно освещенная улица, струи желтого света из редко расставленных фонарей тонут в пыльном кустарнике. Сплошной ряд машин вдоль тротуаров, мусор на мостовой. Жалюзи на окнах полуприкрыты, негромко звучит музыка, блюз, тихая раскачка, с носка на пятку, с носка на пятку...

«Номер, куда же запропастился номер. Вот он, лампочка разбита, но разглядеть можно. Итак, фиксируем – адрес подпольной квартиры: улица Пророков Израилевых, дом...»

Дверь отворилась. Нет, растворилась, словно всосанная гигантским пылесосом, бесшумно включившимся в глубине парадного. Воздух слегка вздрогнул, и на пороге возникли двое: чернявые, с нестриженными бородами и большими кипами на головах.

Дальше смутно. Темные улицы, топот преследователей, горячий, утративший кислород воздух, собачье дерьмо, прилипшее к сандалиям. Остановился Аркадий только на Алленби, возле полицейского джипа. Прислонился к синему борту и прерывисто задышал, проклиная сигареты, сидячий образ жизни и религиозный сионизм.

– Сержант Замир, – представился полицейский, осторожно тормоша Аркадия. – Что случилось?

Аркадий оглянулся. На улице никого не было; после закрытия магазинов шумная Алленби затихала, словно больной ребенок, принявший лекарство. Религиозные исчезли, точно их никогда не существовало. С внезапно возникшим опасением Аркадий принялся вспоминать подробности: да, большие вязаные кипы, бороды – он и сам по молодости ходил с бородой, как запустил на третьем курсе, так и не расставался, до самого развода – белые рубашки навыпуск, демонстративно свисающие кисточки цицит.

– Вызвать «скорую», – двое полицейских совещались, внимательно рассматривая лицо Аркадия, – или отвезти в участок, пусть там разбираются.

– Нет, нет, спасибо, все в порядке, – он даже слегка поклонился, – уже прошло.

«Замир, все они за мир, патриоты хреновы. Твари копченые, кто ж у нас в полиции служит, как не эти, с дерева слезли и туда же, за мир, за мир».

– Авишай, – второй полицейский, по всей видимости, был старшим, в голосе Замира явно проскальзывало подострастие, – на пьяного не похож, вкололся, видать, и бегает в поисках приключений.

– Сажай его в машину, повезем в участок, – нехотя отозвался Авишай.

Полицейский поправил фуражку и начальственно ухватил Аркадия за руку.

– Садись.

Из-под форменной фуражки выполз замусоленный краешек вязаной кипы.

«Игаль Замир», – прочитал Аркадий на блестящей металлической пластинке, прикрепленной на груди полицейского, и вздрогнул от ужаса.

«Вот они где, как обошли меня, как подгадали. А я-то хорош, защиту прибежал искать, поддержку. Сейчас помогут, поддержат...»

– Да не надо, – взмолился Аркадий, вырывая руку, – отпустите, я тут живу на соседней улице.

На соседней улице жила Берта, старая подружка Аркадия.

– На соседней улице, – недоверчиво переспросил полицейский, – сможешь добраться?

– Возле рынка, раз-два, и там, – настаивал Аркадий. – Да я с работы, умаялся за день, сплю на ходу.

Он вытащил удостоверение журналиста и помахал им, словно тысячедолларовым банкнотом. Денег таких ему сроду держать не приходилось, но помогли фильмы и богатое воображение.

Замир осторожно вытащил из пальцев Аркадия пластиковый квадратик и передал Авишаю.

– Действительно, журналист. Куда пишешь, в «Едиет» или «Маарив»?

– Да я в русской газете работаю, для эмигрантов, вы не читаете, – голос Аркадия слегка вибрировал, – мне еще номер сдавать, к двенадцати. Пустите отдохнуть, вздремнуть пару часов.

– Ну, иди, – Авишай вернул удостоверение и, утратив интерес, полез в машину.

– Счастливо, – улыбнулся Замир. – Хороших снов.

Горячий желтый свет обливал элегантные костюмы на столь же элегантных манекенах, матово светились белые рубашки, вальяжно расстегнутые верхние пуговицы обнажали розовую пластмассу. Витрины жили своей отдельной жизнью; лились, никуда не впадая, потоки воды по затейливо изогнутым трубкам магазина «Душа душа», таинственно мерцали серебряные подсвечники и кубки на полках «Аксессуаров святости», хищно улыбались красотки с глянцевых обложек журналов мод. По тротуару, играя и пенясь, ползла темная полоска; пьяный румынский рабочий мочился прямо на асфальт.

«Вот обнаглел, – подумал Аркадий, – такая струя, и на виду у полицейских».

Он оглянулся. За спиной никого не было. Джип вместе с сержантом Замиром и его немногословным начальником испарился подчистую, словно вода в Мертвом море.

«Ловкачи, шустрые ловкачи. Покатили небось на улицу Пророков Израилевых, рассказывать, как провели простачка...»

Аркадий задохнулся от ужаса.

«Замир удостоверение видел, значит, запомнил фамилию. То-то пялился, перед глазами вертел. Идиот, какой же ты идиот!»

Он прислонился к витрине и отер проступивший пот. Стекло чуть вибрировало, наверное, внутри магазина работал забытый кондиционер.

«Б-же мой, какие полицейские, какие заговорщики. Аркадий, ты сходишь с ума, ты просто сходишь с ума!»

Он нащупал в кармане пачку сигарет.

«А ведь как могло быть славно: вернуться домой, попить ледяной колы из „голодильника“, перекусить чем найдется и на диван с сигаретой. Музыка, желательно Баха, синие завитки дыма, иней на зеленых крышах, свист ветра в черных голых деревьях, промерзшие стены старых соборов. А потом тишина, до самого утра тишина, лишь равномерный стук капель из крана на кухне. Починить, но когда... И так славно, так уютно, без суетливых знакомых, наглых работодателей, завистливых друзей, неверных женщин».

– Цигаретен, сигаретен! – румын помахивал рукой перед самым лицом Аркадия. – Пожальуйста, – он поднес руки к горлу и сжал, будто хотел покончить с собой столь оригинальным способом.

Аркадий усмехнулся. Это он понимает. Сколько раз сам задыхался без живительного дымка, особенно в подпитии.

Он вытащил пачку и протянул румыну. Покачиваясь, тот принялся ковыряться в ней неуклюжими пальцами разнорабочего. Аркадий вспомнил струю и, брезгливо улыбаясь, отдал румыну всю пачку.

– Спасибо, друг!

«Понес тебя черт за этой девчонкой. Напридумал, накрутил шпионские страсти, сорок бочек бакинских комиссаров. Сдаешь, старик, сдаешь...»

Румын с достоинством принял протянутую пачку, надорвав края, вытащил сигарету, прикурил и, почти не качаясь, двинулся напрямиком на красный свет светофора.

Аркадий встревоженно огляделся по сторонам. Алленби по-прежнему была пуста, водители, как видно, предпочитали не столь загроможденные светофорами маршруты.

Он посмотрел на другую сторону. Румын пропал. Куда можно исчезнуть на залитой огнями витрин улице?

«Ну и хрен с ним, одним румыном меньше, одним больше... Какая разница для железной поступи прогресса».

Аркадий отлепился от витрины и заглянул внутрь. Зоомагазин. За стеклом аквариума, энергично шевеля хвостами, сновали разноцветные рыбы. Вид у них был весьма деловой; как

видно, незамысловатые для постороннего глаза проблемы рыбьего существования требовали, тем не менее, значительных усилий.

В голубом полумраке громоздились клетки со всякой живностью; попугаи наихитрейших расцветок, котята, щенки. Взъерошенный рыжий котенок привлек внимание Аркадия: высунув из клетки лапку с растопыренными когтями, он тревожно рассматривал кого-то в глубине магазина. Аркадий проследил за его взглядом – на полу противоположной клетки, удобно пристроившись друг к другу, дремало хомячиное семейство. Лапка котенка, протянутая к недосягаемой добыче, беспомощно вздрагивала, являя собой овеществленный символ тщеты и бессмыслицы земной суеты.

«Звери, мойте лапы... В третьем классе он дружил с соседкой по парте, курносенькой, веснушчатой Ритой. Она ему безумно нравилась, и он ей тоже. Дружили совсем по-детски, без поцелуев и прочих знаков внимания, но наедине он вполне серьезно уговаривал ее пожениться. Рита смеялась, приоткрывая нежную полоску верхней десны и норовила щелкнуть его по носу.

– Фантазеркин, обманщик и водолей.

Он клялся в вечной любви, Рита не верила, требовала доказательств, он клялся снова, Рита опять смеялась, а время несло и пропадало так, словно кто-то толкал изо всех сил часовую стрелку.

Они много гуляли, он катал ее на санках, самозабвенно, часами, без малейших признаков усталости. Потом Рита приглашала его обедать, они вваливались в маленькую прихожую ее квартиры, сбивали снег с ботинок, смеялись, подталкивая друг друга.

– Звери, мойте лапы, – кричала из кухни Ритина мама, – обед на столе.

Потом все распалось; честно говоря, он даже не помнит почему. В памяти остались только снег, скрип полозьев и „звери, мойте лапы“.

Рита стала модельером, деловой женщиной. После перестройки открыла сеть магазинов одежды. Полгода назад ее застрелили на пороге собственного ателье».

Он еще несколько минут понаблюдал за безмолвной суетой рыб, стараясь не смотреть на котенка, поскрипел, сам не понимая для чего, ногтями по стеклу витрины и побрел в сторону рынка.

\* \* \*

Берта снимала подвал прямо посреди торговой зоны. В зарешеченные окошки, расположенные под самым потолком, днем заглядывали ноги прохожих, а ночью – жирные рыночные коты. Летом в подвале было жарко, зимой сыро, но сдавали его Берте за такую скромную сумму, что жалеть не приходилось. Злые языки утверждали, будто истинной платой за квартиру является Бертина скромность, но кто их проверял, злые эти языки. Впрочем, Берта, в ответ на намеки и подхихикиванья, заявляла напрямик:

– Да, даю. И не только ему. А стыдиться тут нечего – на мне выросло, значит мое.

По женской части Берта не задалась. Щупленькая, коротко стриженная под мальчика, в круглых очках «а-ля Леннон». Зимой джинсы и серый свитер в обтяжку, летом шорты и серая маечка. Обтягивать, честно говоря, было почти нечего, так, шарики для пинг-понга и две бадминтонные ракетки, но на отсутствие мужского внимания их обладательница не жаловалась. Скорее наоборот, спрос намного превышал предложение.

Работала Берта компьютерным графиком, а свободные силы души отдавала сочинению оперных либретто. Занималась она чистым искусством, поскольку музыку ни к одному из либретто пока не успели сочинить.

Но и помимо музыки проблем хватало. Берта разрабатывала ею же придуманный жанр – опера ужасов. Темы она выбирала исключительно пионерские: «Утро Трофима Морозова» или «Пляшущие октябрюта». Неграмотным, коих, к сожалению, большинство, с полупрезрением

сообщалось, что папу невинно убиенного Павлика звали Трофимом, а водка, для непонятливых, за углом продается.

– И что мне в этой шалаве, – регулярно спрашивал себя Аркадий, но столь же регулярно усаживаясь в подобранное на мусорке продавленное кресло, к собственному удивлению, ощущал некоторый уют и приязнь.

Предприимчивый владелец подвала установил гипсовые, не доходящие до потолка перегородки, превратив бывшее складское помещение в подобие трехкомнатной квартиры. Подобие, поскольку любые запахи и звуки, включая туалетные, одинаково хорошо были слышны в любом уголке. Посреди самой маленькой из образовавшихся клетушек Берта бросила на пол матрас и подушки, это называлась спальней; в чуть большей удобно расположился стол с компьютером, а в самой большой принимали гостей. Берта повесила на стены эскизы декораций к опере «Костер пионеров», разбросала по углам холодильник, газовую плиту, этажерку с книгами, водрузила посередине стол с перевязанными проволокой ногами и зажила.

Единственное, что менялось в обстановке подвала – это Бертины сожителю. Одни приходили сюда на ночь, а исчезали через неделю, с тихой улыбкой сбывшихся ожиданий. Другие уверенно поселялись навечно и пропадали на следующий день. Постоянство, причем без всяких к тому усилий, получил только Аркадий. От щедрот Берты ему перепало практически всегда, вне зависимости от того, был ли у нее в тот момент постоянный приятель. Иногда Аркадий даже перебирался к ней на несколько недель, а то и месяцев, но в конце концов не выдерживал и сбегал. Его приходы и уходы Берта воспринимала с деланным равнодушием. Лишь однажды, на дне рождения лучшей подруги, обнаружив пьяненького Аркадия в объятиях виновницы торжества, заметила в пространство:

– Не люблю терять вещи. Ищешь, ищешь, сходишь с ума от беспокойства, и все для того, чтобы потом обнаружить на ком-нибудь дорогой сердцу предмет.

Последним Бертиным кавалером был ревнивый владелец деликатесного магазина Валик. На Аркадия он косился нехорошо и злобно, то ли что подозревая, то ли прослышав от добрых людей про особый тип его отношений с Бертой.

«Зачем портить человеку настроение», – решил Аркадий и перестал приходить.

Берта звонила, выспрашивала, просила прощения, не понимая, впрочем, за что, но удовольствию видеть рожу Валика перевешивало даже сексуальный голод. И не пошел бы он никогда, тоже, понимаешь, товар, подсушенные прелести Берты, но эти двое, эти бакинские комиссары, переполошили, взбаламутили старые страхи и мании.

Под ногами захрустело. Значит, уже рынок. До полуночи будут снова уборщики, собирая вываленные прямо на мостовую фрукты и овощи, потом пройдут со шлангом, смывая тугой струей все, что не заметили и пропустили. Утром на влажных от росы и ночного полива тротуарах снова раскинется пестрое, невообразимое богатство восточного рынка, с безумными выкриками продавцов, степенными покупателями, баррикадами еды, одежды, дешевой косметики, книг, будильников, видеокассет, портретами праведников и полуголых красоток, грохотом и звоном басурманской музыки.

Дверь в подвал, как всегда, была полуоткрыта.

– Аркаша, солнышко! – Берта поспешила навстречу.

Ну и: те же джинсы, та же маечка, тот же набор восклицаний и междометий. Он сухо прикоснулся губами к подставленной щеке и направился прямо к любимому креслу. Кресло оказалось занятым. У колченогого стола, уставленного дешевой снедью, удобно расположились двое.

– А где Валик?

– Иных уж нет... – Берта неопределенно помахала рукой, словно прощаясь с кем-то, только что улетевшим на помеле.

– Мэтр, – подал голос узурпатор из кресла, – присоединяйся.

Аркадий краем глаза был с ним знаком. Литературный мальчик хорошо за сорок, вечно бегал по редакциям, разнося чужое и пытаясь пристроить свое. Коротко, почти налысо стрижен, серьга в ухе, выбрит до синевы. Изъяснялся он дробленными фразами, замолкая после каждой на долю секунды, словно готовясь угодливо прерваться в любой момент. Недавно редактор газеты, где работал Аркадий, не выдержав нажима, опубликовал один мальчуковый рассказ. Назывался он вполне авангардистски – «Дефекация». На трех страничках мальчонка описывал, как он делает, рассматривает, обнюхивает и подтирается. Заканчивался текст призывом запастись туалетной бумагой, поскольку, не сумев достойно принять большую алию, Израиль скоро захлебнется в собственном дерьме.

Рассказ напечатали, позвонило полтора пенсионера, а мальчуган приволок ящик водки, напоил всю редакцию и чуть не сорвал выпуск следующего номера.

Второй был явно черновицким. Сам не понимая за что, Аркадий не любил представителей святого города-героя Черновцы. Он узнавал их сразу; на улице, посреди толпы, в автобусе, даже на пляже, среди сотен обнаженных тел. Когда-то в России он никак не мог понять, как из десятков одинаково одетых и в общем-то похожих людей подвыпивший «гегемон» сразу находил «жида». А теперь понял.

Черновицких он выделял по алчному сверканию глаз, хищно заостренным носикам, вечно вынюхивающим добычу, беспардонной въедливости, проникаемости в любую щель. Вот и этот, у стола, так и смахивал на хорька, пирующего в курятнике.

– Что пьем? – после сорока пяти Аркадий стал разборчивее относиться к заливаемой жидкости. Аккуратно опустившись на красный пластмассовый табурет, – мебель у Берты комплектовалась на свалке и пользоваться ею надо было с особой осторожностью – он выжидающе поглядел на мальчонку.

Черновицкий приподнял бутылку в вытянутой руке, ощупал ее быстрыми движениями глаз и объявил:

– Водка «Отличная», Минздрав предупреждает, ответственность за употребление полностью возлагается на употребляющего.

«К врачу тебе пора, – подумал Аркадий, – к окулисту. Плюс пять у тебя, болезный, как минимум плюс пять».

– Так наливать?

– Наливай.

Закуска не баловала. Кроме наломанного кусками батона и безжалостно располовиненных помидоров на тарелке в промасленной бумаге красовалось нечто коричнево-белое и, судя по темным пятнам на обертке, весьма жирное.

Мальчонка, уловив взгляд Аркадия, услужливо пояснил:

– Сервелат-с. Остатки деликатесной роскоши.

Он кивнул в сторону Берты, как бы показывая, кому обязаны.

– Сервелат, – Аркадий отставил рюмку. – Религии я, ребята, чужд, но печень в последнее время барахлит. Есть чем заменить?

Берта ловко смела с тарелки злополучный сверток.

– А у меня картошечка поспела. Вы пейте, мальчики, я мигом.

Выпили. Дрянь еще та. Аркадий быстро подхватил половинку помидора – забить тоскливый вкус плохой водки. Помидор оказался до омерзения сладким, батон пересох и рассыпался на ломкие, колючие кусочки. Черновицкий держался молодцом: приняв дозу, он только крякнул, раздувая горло, как настоящая утка, и тут же закурил. Мальчонка осторожно отпил из стаканчика и, подражая Аркадию, подхватил половину помидора. Пошел явный негатив, отравы металась по периферии, решительно требуя закуски, а Берта все не шла и не шла. Но вот она появилась, прекрасная, словно юная Маргарита, с дымящейся кастрюлей на вытянутых руках.

– Действительно картошка, – Аркадий аж привстал от удивления. – Кто подвигнул тебя на гражданский подвиг, о чудесная кулинарка?

Берта не умела и не любила готовить. Питалась она и приятелей своих кормила дешевой едой из лавочек на рынке. Всякие замазки из хумуса и тхины, баклажаны в майонезе, полусырая пицца, готовый чипс и прочая дрянная снедь подавались на завтрак, обед и ужин, в будни и праздники. От неожиданной кастрюли запахло детством, воскресными обедами вокруг семейного стола, забытыми мечтами, утерянными надеждами. Аркадий воткнул вилку в бок здоровенной картофелине с бесстыдно задравшейся шкуркой и перекинул к себе на тарелку.

– Вот порадовала, вот удивила! Совсем как большая. Достойна поцелуя и благодарности перед строем!

Берта улыбалась, горделиво озирая дело своих рук.

– Да так, стих нашел. Сама не знаю почему.

– Ах ты, милая картошка-тошка-тошка, пионеров идеал, идеал!

Пел Аркадий гнусаво, зато не фальшивя.

– Тот не знает наслажденья-денья-денья, – подхватил, было, черновицкий, но тут же осекся под укоризненным взглядом Берты.

«Правильно, – подумал Аркадий, – что позволено Юпитеру... ну и так далее».

Мальчонка тоже ощутил неловкость момента и, дабы загладить бестактность товарища, предложил:

– А теперь – за хозяйку дома. За вдохновение. За свободный полет Большой Берты!

«Какой там полет, какое вдохновение, – подумал Аркадий. – К искусству Бертины каракули имеют такое же отношение, как подставка для кофейника к запаху кофе».

Подумал, но спорить не стал.

Выпили. Крепко закусили картошкой. Деловито, без ненужных слов приняли еще по одной. Начало забирать. И жизнь показалось уже не столь удручающей и страшной, зал как-то распрямился, стал выше и просторнее, припудренные морщинки на верхней губе у Берты тоже куда-то исчезли, а черновицкий, с его смущением и робостью, выглядел просто симпатягой.

– Откуда товарищ, – обратился Аркадий к мальчонке, подбородком указывая на черновицкого. – Почему не знакомишь?

Мальчонка аж зарделся от удовольствия. Его словно посвятили в рыцари, нет, в рыцари рановато, но в оруженосцы – так наверняка, и это столь искомое чувство принадлежности к цеху демиургов заиграло румянцем на щеках.

– Черновицкий, – представился черновицкий, – протягивая руку со стаканом.

– Да вижу, что не москвич, – отозвался Аркадий, крепко чокая своей рюмкой о стакан. – Красивый, говорят, город, просто маленький Париж.

Он улыбнулся самой широкой из своих улыбок и, внутренне дивясь собственному коварству, чокнулся еще раз.

Теперь настала очередь черновицкого краснеть от удовольствия. Разлетевшись на улыбку, он тут же начал плести об австро-венгерской архитектуре, чугунных решетках, садах возле старых домов, двориках, увитых плющом.

– Дворики, чувачки, ах, если бы вы видели эти дворики! – восклицал он, уносясь в прекрасное прошлое.

Аркадий внимательно слушал, кивая головой. Раскручивать, потрошить собеседников давно стало его привычкой, профессиональным вторым «я». Даже не задумываясь, он в нужных местах удивленно приподнимал брови или, сопереживая, морщил лоб. Берта, осведомленная о симпатиях Аркадия, покусывала губки, еле удерживаясь от смеха. Но черновицкий ничего не замечал.

– А паркет! У нас в квартире был паркет, старый, еще австрияки клали. Раз в пять-шесть лет он начинал поскрипывать. Несильно, но вы ж понимаете... Отец вызывал мастерицу, пожи-

лого еврейчика, по имени Шимон. Из комнаты выносили всю мебель, Шимон снимал порог и разбирал паркет по штучке, как легио. Без клея и гвоздей, все держалось на точной подгонке. Пол снизу был устлан ровными досками, пока их мыли, Шимон наждачкой полировал каждую паркетину. Не труд, а сплошная кончита. Когда пол высыхал, он собирал их, одну к одной, без гвоздей и клея, только ставил более широкий порог. После этого хоть дави изо всей силы, хоть колбасись и оттягивайся – ни стона, ни писка.

«Вот так и мы, – подумал Аркадий, – перевернули нас, кинули к новому порогу, собрали без гвоздей и клея и давят изо всех сил. И чтоб ни стона, ни писка...»

Пошляк, банальный, стареющий пошляк. В стократ умнее тот, кто при вспышке молнии не скажет: вот она, наша жизнь. Кто это, Ли Бо или Лу Синь? Они многое поняли в жизни, старые желтые китайцы с косичками. В отличие от нас, перекасти поле. Жили себе в безграничной Поднебесной, смотрели, как луна купается в тучах над рекой, писали стихи, медленные, словно полет цапли. А мы? Призрачность, маскарадность и внутренняя пустота. Как в России перед Столыпиным, между двумя войнами. Впрочем, в Израиле всегда между двумя войнами... А местного Столыпина уже застрелили.

– Арканя, – Берта протягивала ему стакан воды, – Арканя, что с тобой?

– Нет, нет, ничего, просто задумался. Слушай друг, – он с нежностью посмотрел на черновицкого, старый, безотказно работающий прием, когда нужно докрутить, расколоть собеседника, – а чего ты уехал из своих Черновцов. Оставил паркет, литые решетки, старинную архитектуру. На хрен тебе, извини, пали помойки Большого Тель-Авива?

– Тут наша Родина, и мы должны ее любить, – выскочил малец, усмехаясь глумливо и стыдно.

«Дурак, – подумал Аркадий. – В России и я смеялся над этим анекдотом, а теперь мне не до смеха. Какой уж тут смех, ведь это действительно наша Родина, но как же ее такую любить?»

Ему вдруг захотелось сделать что-то приятное черновицкому, наивному простаку с доверчивыми глазами. Работает, поди, фрезеровщиком на заводе, гнет спину посреди голимого железа, а нынешний разговор воспринимает как глоток воздуха, общение с богемой. Потом еще долго токарям будет байки рассказывать.

– Выпьем за парижан! – Аркадий поднял стакан, – за курчавых, картавых парижан с горбатыми носами. Лехаим!

Выпили. Малец, еле прожевав кусок картошки, принялся снова разливать.

– Я ведь тоже урожденный черновицкий, – поспешил он присоединиться к успеху. – Когда мне было три года, родители переехали в Кишинев. Так что вырос я в Молдавии. Но родились мы, – он дружески прикоснулся к плечу черновицкого, – в одном городе.

– М-м-м! – Аркадий застонал от восторга, – Черновцы и Кишинев, это же просто золотой сплав, настоящая альгамбра!

– Амальгама, – робко поправил черновицкий.

– Пусть амальгама, – Аркадий развеселился и потому подобрел. – Какая, на фиг, разница, главное, что красиво!

Все заулыбались, и, отвечая на улыбки, Аркадий вернулся к причине застолья.

– Пошто гуляем, братие? Повод есть или вообще, в честь приятного климата и высокой зарплаты?

– Поминки у нас, – отозвался мальчонка. – На скаку потеряли товарища...

– Кто, кто умер?

– Македонский. Помнишь, был такой графоман философ.

– Как, – ахнул Аркадий, – Алекс Македонский?

– Увы, – склонил голову черновицкий, – увы и ах.

«Саша... В последний раз он позвонил откуда-то с севера, кажется из Цфата. Говорили недолго, прощаясь, он сказал:

– Жди, скоро увидимся.

Когда теперь увидимся, и где? И сколько осталось ждать?»

– Итак, помянем, – черновицкий призывно поднял стакан, – за упокой души и на вечную память.

«Саша... Фиглярствую и куражусь, а его уже нет и никогда не будет. Вот так и о тебе вспомнят, как ты вспоминаешь о нем».

– А как это случилось и когда?

– Что случилось? – не поняла Берта.

– Саша, Македонский.

– А просто, – опять влез мальчонка. – Сочинил новую тягомотину. Еще глупее прежней. Понес советоваться. Объяснили ему – не пиши, Сашок, не мучай собачку. А он возьми и напечатай. После издания такой чуши в моих глазах он скончался.

– Та-ак, – Аркадий стал потихоньку соображать, о чем идет речь. – Книжка ладно, книжка туда, книжка сюда, с ним-то что?

– Да ничего с ним, – наконец сообразила Берта. – Живехонек, целехонек, здоровехонек. Живет в своем Цфате, наслаждается горным воздухом и молодой женой сефардкой...

Стало скучно. Ну просто совсем, до самого дна зеленой, илистой скуки. Когда-то давно, у костра в стройотряде, Аркадий спросил хорошего приятеля о самом заветном, любимом, недоступном. Было такое желание в молодости – говорить по душам. Особенно у костра, глубокой ночью, когда дрова уже прогорели и по жару углей молниями проскакивают искры.

– Парить над толпой, – ответил приятель.

Умом Аркадий принял, но сердцем не понял, посчитав приятеля снобом и зазнайкой. А вот сейчас, спустя столько лет, пришло понимание.

Ругать или объяснять что-либо этим придуркам не было ни сил, ни желания. Дешевая муравьиная возня, суета бесполезных букашек. Он смотрел на них сверху, возвышаясь, а может, действительно паря над бездарной убогостью игры. Делать тут больше нечего...

– Двадцать два.

– Что-что? – переспросил мальчонка. – Уже рецензию, простите, некролог, в журнале успели поместить?

– Перебор, говорю, перебор.

Аркадий встал, сухо кивнул головой и двинулся к выходу. Берта, привыкшая к его закидонам, молча шла следом. Выйдя за порог, Аркадий остановился. Полуприкрытая дверь отделила его и Берту от подвала.

– Дура, – сказал он, укоризненно смотря ей в глаза, – пускаешь в дом всякую шушеру.

Глаза Берты слегка сузились.

– А я думала, тебе понравятся мои любовники...

– Как, эти двое?

– Нет, трое.

«Вот змея, не сдержалась все-таки. Весь вечер молчала, хорошая девочка, и вот, не сдержалась. Таких надо учить на месте, не отходя от тела».

– Берта, – он закашлялся, словно преодолевая нерешительность. – Я, собственно, к тебе по делу. Хотел рассказать, поделиться... Трудно тащить в одиночку, а тут эти придурки, словом не перемолвишься...

– Арканя... Чего ж ты молчал, дурачок, я бы их выгнала, поговорили б. Может, и сейчас не поздно... возвращайся... я мигом устрою.

– Да нет, неудобно. Вот послушай, я в двух словах. Послушай, а потом созвонимся.

Он снова закашлялся, на сей раз без труда, то ли войдя в роль, то ли действительно смущаясь. Берта прикрыла плотнее дверь и внимательно посмотрела на Аркадия. В конце улицы

деловито сновали сборщики мусора, самоуверенный базарный кот неторопливо возвращался из рыбного ряда. Холодный свет луны переливался в его распушенных усах.

– Я шпион, провокатор, – тихо произнес Аркадий. – Казачок засланный. Внедряюсь в религиозную террористическую группировку.

Он помолчал.

– Все вроде нормально... но сегодня я почувствовал, что меня подозревают. Ты понимаешь, чем это пахнет.

– Аркашка, – Берта испуганно прикрыла рот рукой, – Арканечка, ты совсем спятил. Ты ж иврита совсем не знаешь, какой из тебя провокатор?

– Я под раскаявшегося канаю, – сумрачно произнес Аркадий. – Под вернувшегося к религии. Хожу в ешиву, ношу кипу. Пока ходит нормально. И знаешь, – он с нежностью заглянул Берте в глаза, – это вовсе не так глупо, как представляется со стороны.

– Возвращенец! – ахнула Берта. – Так вот почему ты отказался от сервелата. Я-то думала, шиза давит, а оно, гляди, куда покатилося.

– Дура! – во весь голос закричал Аркадий. – Поверила, дура! Сколько спермы на тебя извел, сколько сердца отдал – а ты поверила!

Он повернулся и бросился вниз по улице, злобно топчя ногами мусор.

– Дурачок... – Берта плакала уже по-настоящему. – Любовники... и ты поверил! Вернись, куда ты бежишь, дурачок!?

Но Аркадий не слышал. Домой, ему вдруг отчаянно захотелось домой. Не в сырую квартиру, снятую за полцены рядом с арабским районом, которую он официально указывал в качестве адреса, а в светлый дом, с голубыми занавесками, замирающими на сквозняке. Стать как все; уходить в пять с работы, выбрасывая из головы производственные проблемы, чтоб ждала жена, теплое, любящее существо, дети, нет, один, одного хватит, ужин, телевизор, газеты – ха-ха-ха – спокойная любовь перед сном в чистой постели. Мещанский быт, над которым он всю жизнь подтрунивал и смеялся, вдруг превратился в желанную, но недоступную сказку, мираж перед глазами заблудившегося в пустыне путника.

«А ведь было все это у тебя, было: и жена, и ребенок, и чистая квартира. И работа была, престижный труд сценариста-эстрадника, поездки, знакомства. Но ведь как грыз ты ее, жену свою, как мучил, терзал. Изменял с каждой допускавшей до себя самкой, о свободе кричал, просторе для творчества. Вот сейчас у тебя свободы хоть отбавляй и простора навалом, чего же стонешь, чего бьешься о борт корабля?»

Он потер щетину на подбородке и прибавил шаг. Освещенная Алленби осталась позади, Аркадий погрузился в полутьму Керем Хатейманым, привычно продираясь сквозь путаницу коротеньких улиц. Разноцветные огни причудливых вывесок хорошо освещали дорогу. Говорят, раньше в каждом втором доме тут была синагога, но времена изменились, у публики возникли иные запросы и теперь вместо синагог – рестораны.

«Не любил, оттого и мучил. Злой был – на нее, на себя, бесталанного. А пил для того, чтоб проснуться утром, в мерзости и паскудстве и выплеснуть злобу свою на страницы очередного скетча. Ведь иначе не писалось, то ли потому, что жил не с той, а может, оттого, что занимался не своим делом.

Но какое оно, твое дело? Ведь сроду другого не умел, как составлять слова в цепочки, играть ими, будто кистенем, или опаживать, словно черный невольник, лицо утомленного султана.

Невольник, негр, литературная моська... Ничего, он еще напишет свою Книгу, главную, обо всем. И кровь будет в ней, настоящая, большая кровь, и страсть, и эротика. Ее будут читать в каждом доме, упиваясь, захлеб, засос... Он знает, как угодить и домохозяйкам, и интеллектуалам. Одним достанется интрига в голливудском темпе, другим – love story Андрея и Пьера.

Расставания и встречи, приливы и охлаждения. Он прилипчив, словно скотч, неуклюжий, простодушный Пьер. Уйти от него можно лишь в небытие или к женщине, что равносильно небытию. Андрей делает предложение трепетной курочке с голубыми глазами. Курочка счастлива, но вскоре доброжелатели доносят ей правду, она пытается бежать с другим, ее ловят, возвращают. Дело потихоньку движется к свадьбе, тут начинается война, и Андрей погибает. Безутешный Пьер женится на невесте друга, рождает с ней кучу детей и живет здоровой жизнью хлебосола и книгочехя. Но каждый раз, совокупляясь с женой и зарываясь в нежный пушок ее губ, он представляет холеные усы погибшего друга и рычит от неуголенной страсти».

Аркадий остутился: скользнув по гладкому боку бордюра, подошва сорвалась на мостовую. Взвыв от боли, он плюхнулся на тротуар. Над головой зашелестели крылья: как видно, потревоженная стая глубей вспорхнула с карниза. Растирая щиколотку обеими руками, Аркадий продолжал скулить, словно потерявшийся щенок.

«И не так больно, как нелепо и обидно: обидно за ногу, и за собачью работу, и за опостылевшее одиночество. Когда же все это кончится, когда настанут лучшие дни? И ему полагается немного счастья, он его заслужил.

Заслужил... Что значит заслужил? Значит, есть кто-то, раздающий награды и отвешивающий наказания. А иначе перед кем они, эти заслуги?»

Он перестал рычать.

«Ого, Берточка, ты даже не подозреваешь, насколько попала в точку. Надо взять себя в руки и идти домой. Душ, стакан холодной колы. И спать, спать...

Набережная. До Яффо еще минут пятнадцать, плюс десять вдоль бульвара, и он дома. Полчаса прогулки вдоль моря, одна польза и ничего, кроме пользы. Дыши глубже носом, и все пройдет».

Они шли ему навстречу, улыбаясь и похохатывая, молодые, с ровным блеском зубов в расщелинах курчавых бород. Белые рубахи, не заправленные в брюки, большие кипы на головах и кисточки до колен. Откуда взялась она, теплая волна страха, накатила из глубины пищеварительного тракта и ударила по щекам? Аркадий побежал, не понимая куда и от кого.

Отпустило только перед самым Яффо. Он оглянулся – ничего себе пробежка. Давненько не приходилось так шуровать, наверное, со времен школьных кроссов. Увы, пора обращаться к врачу. Если бегать от первого встречного с кипой на голове, то лучше на улицу не выходить вовсе.

Аркадий сел на скамейку, откинулся поудобнее на жесткую деревянную спинку и закурил. После второй затяжки засвербело, закололо в горле, словно кто-то щекотал его изнутри кончиком гусяного пера. За щекоткой пришел кашель, заядлый, тугой кашель, рвущий на куски и без того утомленное горло. Он бросил сигарету и, продолжая кашлять, злобно растер ее ногой.

«Сам виноват. Во всем виноват только сам. Мог бы жить по-другому, встречаться с другими людьми, любить других женщин. Как демиург, создал собственный мир, населил его своими героями, а теперь мечешься между опостылевшими персонажами. Но, в отличие от книжных, они не уходят со сцены, даже если перевернуть страницу. Даже если запереть книжный шкаф, закрыть глаза и заткнуть уши. Они преследуют тебя, твои герои, твоё порождение, литература, которая всегда с тобой.

И Берту ты придумал, сочинил и пустил гулять по свету. Она ведь совсем уже не девочка, твоя Берта. Как ни припудривай, как ни маскируй, морщинки на верхней губе выдают возраст. И зубы пора лечить, ох, как пора. Хоть и бешеные деньги, но дыхание любви тоже чего-нибудь стоит.

Маленькая собачка, добрая маленькая собачка... И секс с ней – давно уже не любовное соитие, а скорее, акт дружбы и сочувствия».

Аркадий машинально достал новую сигарету, закурил, глубоко затянулся. Кашель не повторился.

«Ты ведь и возвращался к ней из-за этого, из-за тех минут после, когда уже ничего не хочешь и надо говорить, а с ней можно молчать, и это молчание лучше любых слов. В одну из таких минут она рассказала тебе правду, но ты постарался забыть, вынести за скобку, как перебор, чересчур яркий эпизод.

Ее изнасиловали, Берту, мальчишки из старшей группы пионерлагеря. Акселераты, твердые и горячие, словно раскаленное железо.

Один из них пригласил ее погулять в роще, и Берта пошла, трепеща, на первое свидание в жизни. О чем мечталось ей в недолгие минуты ожидания, о чем грезилось? Он привел с собой двух приятелей, и они терзали ее весь вечер с беспощадностью часового механизма, помноженной на энергию паровозного шатуна.

Милиция открыла дело, но родители акселератов уломали отца Берты взять деньги и забрать заявление. Отец давно мечтал о машине, инженеришко, винтик на заводе, ему отсчитали всю сумму наличными, и Берта согласилась.

В августе они поехали в Крым, всей семьей, на „Москвиче“, стареньком, но еще хоть куда бойком, и в Крыму его украли, на второй день. Обратном возвращались поездом, ветер из окна трепал волосы отца, уже совсем седые, Берта смотрела на его осунувшееся лицо и жалела до боли в животе. Потом у нее началось воспаление, эти подонки нарушили ей что-то, и после года процедур и проверок пришлось удалить матку.

Она ждет его, Берта, который уже год ждет, но он ничего не может ей дать. Эмоции ушли из его организма вместе со словами, их обозначающими. Он размазал, распластал себя на тысячах газетных страниц, ему нужно собирать себя заново, по кусочкам, словно разбитую мозаику».

Сигарета кончилась. Аркадий бросил окурочку и решительно двинулся в сторону дома.

«Хватит. Так дальше жить нельзя!»

Он провел рукой по подбородку.

«Побриться. Давай начнем с малого. Немедленно побриться!»

Аркадий шагал вдоль аллеи, размахивая руками. Невидимые птицы шуршали крыльями среди ветвей. Тень бежала перед ним, сокращаясь и убывая, прыгала под ноги, исчезала за спиной и снова вырастала, чтобы опять исчезнуть у следующего фонаря.

Шуршание над головой усиливалось, превращаясь в центральную тему. Остановившись, Аркадий подхватил с асфальта жестянку из под «Колы» и рассерженно запустил в крону ближайшего дерева. Шуршание смолкло, белое перо выскользнуло из темноты и мягко спланировало под ноги Аркадию.

«Вот так, резко, четко, точно. Так нужно жить, а не размазывать слюни и сопли. Так, вот так, вот так».

Ему нравились собственная решительность и вообще он сам, прямой и способный к переменам. И даже эти, в кипах, тоже нравились ему. Честно говоря, он даже слегка завидовал их убежденности в собственной правоте, сплоченности вокруг общей идеи.

«И я бы мог, – пометил Аркадий где-то на краю сознания, – быть увлеченным, бегать, доказывать, спорить до хрипоты. Пусть другие смеются, а он целостен в хрустальном доме своей веры, и она греет его, эта целостность, растопляя осколочки льда в глубине сердца. За те же деньги можно жить в стране, что тебе нравится, дружить с людьми, которые тебе по душе, любить тех, кто тебя любит. Стоит только сменить угол зрения – и ты уже в другом мире».

Вот и его подъезд. Грязная лестница без света, выщербленные ступени. Влажная духота, пропитанная кошачьей мочой. Опять не поворачивается ключ.

«Сколько раз говорил тебе, смени замок! Надо, надо, крути теперь ключ до ломоты в пальцах, сдирай кожу. Тьфу, придурок, лентяй, образина небритая, крути, крути, пока не поумнеешь!»

Замок вдруг шелкнул, дверь резко распахнулась, и Аркадий влетел в маленькую прихожую. В доме стоял густой дух забытого мусора.

«До утра придется этим дышать», – взвыл Аркадий. Прикрыв дверь, он бросился в кухню, распахнул настежь окно и, выдернув из-под раковины пластиковый пакет, швырнул вниз. Пакет мягко чавкнул, приземлившись на асфальт, и развалился. Окурки, объедки и прочие отходы жизнедеятельности рассыпались по тротуару.

«Гори оно все огнем», – решил Аркадий и пошел в душевую. Пальцы, натертые ключом, нестерпимо саднили. Он включил воду и сунул руку под струю.

«Звери, мойте лапы...»

В треснутом зеркале шкафчика покачивалась невыбритая, пьяненькая физиономия.

«Зверь, иностранный рабочий. Поденщик на литературных плантациях. И чем ты лучше того румына? Тот хоть дома строит, а ты производишь грязную, перепачканную краской бумагу, о которой на следующий день уже никто не вспомнит. Кстати о памяти, не худо и побриться, как ты думаешь?»

Намыливая щеки, он с плохо скрываемым отвращением рассматривал себя в зеркало.

«Ну и рожа. Стареющий неудачник, борзописец и пьяница. Отечество – бросил, родной язык – променял на басурманское курлыкание, семью – развалил. Остался только долг – жить и страдать, и ты должен его выполнять.

Знакомые слова. Вообще, все слова ему давно и хорошо знакомы. Он их или писал, или читал, или, по меньшей мере, произносил. Круг замкнулся, новых знакомств больше не предвидится.

От всей его интеллигентности остался только хороший русский язык. Но кому он нужен, его язык, особенно здесь, в Израиле? Да и в России сейчас изъясняются на чудовищном воляпюке; блатном, фартовом, системном – каком угодно, только не так, как он привык думать и писать. Интересно, куда подевались полчища корректоров, редакторов и главлитов? Неужели все они торгуют сладостями и гигиеническими прокладками?

Редакторы... Перед отъездом знакомый редактор толстого журнала вдруг разоткровенничался:

– Куда угодно уезжайте, – он говорил ему „вы“ и регулярно печатал, часто вопреки мнению редколлегии. – Куда угодно, в Бразилию, Антарктиду, к черту на рога. Русская интеллигенция привыкла жить с мыслью об эмиграции. Будете как Герцен, Набоков, Бунин. Только, упаси вас бог, не в Израиль. Тогда вы чужой, табу. Послушайте старого, седого русака – не хороните себя и свой талант».

Кому он должен? И за что? За глупую, бессмысленную тоску, именуемую жизнью? Он не нуждается в такой милости, он может отдать ее обратно, целиком, без сдачи, таким же щедрым жестом, как состоявшееся без его ведома и спроса рождение.

Затупившееся лезвие фамильной бритвы со скрипом ползло вдоль щеки.

«Опять забыл наточить. И это забыл. А жест действительно получается красивый. И совершающий его сравнивается с тем, кто совершил первый, непрошенный жест, а значит, вырастает до таких же размеров».

Он перевернул бритву и, словно примериваясь, несколько раз провел тупым концом поперек горла. Туда-сюда, туда-сюда.

«Не осел, с тоскою влекущий телегу, нагруженную камнями, а гордый человек, личность, своею рукою обрывающий теснящие грудь помочи».

Он посмотрел в глаза человеку с бритвой у горла и вдруг замер.

«Г-споди, да ведь все это он уже читал, конечно, читал, и про курсистку, и про шпиона, и про бритву. Он даже помнит, где именно...»

Аркадий стер полотенцем пену с невыбритой щеки и ринулся в комнату. «Вот он, знакомый томик, оглавление, кажется, это было здесь – да, конечно, Андреев, „Нет прощения“...»

Разжалован. Одним небрежным щелчком по носу его низвели из демиурга в персонажи. Не только слова, но и жизнь, вся его оригинальная, неповторимая жизнь, оказывается, уже записана кем-то на белых квадратиках беспощадной бумаги. Откуда-то возник, проявился развеселый мотивчик и закрутился, зазвенел в ушах.

Раньше был Аркадий журналист прекрасный,  
А теперь Аркадий персонаж несчастный.

Он опустился на диван и замотал головой. Через минуту мотивчик исчез, но вместо него навалилась усталость.

„Завтра, – зашептал Аркадий, сонно покачивая головой, – завтра, с утра – и в ешиву“.

Не веря собственным словам, он несколько раз повторил их, пробуя на вкус каждую букву, примеряя на себя завтрашний день. Увы, возбуждение, вызванное алкоголем, схлынуло без следа, прихватив остаток сил.

„Или послезавтра, сперва отдохнуть, придти в себя. А жизнь – она длинная, длинная, длинная...“

Решительность большой птицей метнулась в окно и исчезла, разочарованно шелестя крыльями.

С трудом поднимая руки, Аркадий стащил рубашку и шорты и, уткнувшись носом в диванную подушку, поплыл, закачался на мягкой волне сна. Завтра все уйдет, забудется, растает, он снова забарабанит по клавишам компьютера, словно заяц из рекламы батареек „Duracell“, выкурит свои полторы пачки, выпьет шесть чашек кофе и вместе с секретаршей посмеется над собственной наполовину выбритой физиономией.

Через распахнутое окно донесся скрип тормозов. Голос Замира четко произнес:

– Объект погасил свет, видимо, пошел спать. Подождем до утра.

Аркадий спал. Электронные часы на его руке бойко высвечивали мгновения ночи. Завтра ему предстояло написать фельетон, обзор новостей, три стихотворения и критическую статью о Тель-Авивском клубе литераторов.

Бесцеремонно спроваженный мальчонка грустно поплелся на автобус.

„Все им: наша публика, наши гонорары, наши женщины. Налетело этих гастролеров, словно навозных мух. Каждый день – другая знаменитость, не продохнуть от блеска орденов“.

Автобус на центральную станцию подошел почти сразу. Мальчонка оглядел полупустой салон и бесцеремонно уселся напротив красотки восточного типа.

„И наши мэтры хороши... Дальше собственного носа не видят. А в учителя лезут, в наставники!“

Ниспровергатели основ! За жалованье в шекелях скулят о прелестях утраченного Хозяина. Статьи строчат с оглядкой на него. Книжки стряпают для него, любезного. В подполье, тиражом пятьсот экземпляров, как шпионское донесение. Мол, придет время – оценят. Добровольные резиденты русской культуры в изгнании. Держите карман! Вся беда, что новому Хозяину вы без надобности“. Мальчонка поднял голову и, не стесняясь, принялся рассматривать соседку.

„Заезжий Мастер и провинциальная Маргарита. А рассказ сложился и уже стоит перед глазами. Четкий, словно восклицательный знак. Только бы хватило слов. Завернуть, закрутить,

выставить. Достичь бы такой густоты, как волосы этой красотки. Ясности и простоты, на уровне белизны блузки“.

Соседка, заметив взгляд мальчонки, нахмурила брови.

„Религиозная недотрога. Развелось их... Но хоть красивая. Лицо сияет, как у ангела. С такой и согрешить не грех. А то и жениться... Жены из них хорошие, если приручишь“.

Он представил себя рядом с ней, в большой вязаной кипе и курчавыми пейсами вразлет. А дальше пошло, покатило само собой: дом в Галилее под высокой крышей из красной черепицы, куча смуглых детей, похожих на него и на красотку, счастливое лицо жены среди кастрюль и пеленок, ночные бдения у компьютера, он напишет свою книгу, настоящую, большую, и на раввина выучится, эка невидаль, не сложнее кандидатской, ученики, последователи, он выходит благословить народ перед субботой и, привычно сложив пальцы щепотью, осеняет... Нет, это уже не оттуда. Хотя, какая разница, восторги культа везде одинаковы, разница только в атрибутике. Но жена сефардка! Вот если б согрешить без обязательств, тогда пожалуйста».

Он перевел взгляд на ее грудь, довольно отмечая, как румянец стыда заливаает красоткино лицо.

Черновицкий вернулся в гостиницу под утро. С наслаждением, глубоко втягивая холодный кондиционированный воздух, прошелся по мягкому ворсу ковра и, беспорядочно разбрасывая одежду, устремился в душ. Самолет домой, в Москву, уходит в шесть вечера, можно было совершенно роскошно поспать и поработать. Мелодия главной темы еще не оформилась окончательно, но уже висела тучкой у виска, обещая вот-вот разразиться благодатным ливнем на нотные линейки.

«Ну и темперамент у этой Берты, – думал он, крутясь под колючим душем. – Отдача, как у пушки. Хоть по Парижу пали!»

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.